

# Жизнь до следующей кометы

СЕВЕР \*

## ГЛАВА 1

### ХИРУРГИЯ ПО-ФИЛИППИНСКИ

Иностранца я знаю сто лет. И он меня столько же. Это обстоятельство делает нас похожими. Нам об этом часто говорят. И зря. Потому что, услышав такое, мы невольно стараемся вновь обрести "неповторимую" индивидуальность. И, если входим в раж, то много можем наломать дров.

Страсти разгорелись совсем недавно, позавчера. На редакционной летучке, подводящей итоги квартала, Иностранец во всеуслышание заявил, что в командировку он со мной больше не поедет. Никогда. Этим шокировал благородное собранием. Но ненадолго.

- Я давно заметил, что у товарища Хена начался творческий кризис. Отсюда и безответственное заявление, голословные выпады в адрес товарища. Может, у товарища Хена семейная лодка разбилась об утес? Может это причина всему? Пусть он нам объяснит.

Задавший нескромные вопросы был новичком. В редакцию он пришел всего полгода назад. До того, как попал на трудные журналистские тропы, служил, как раньше бы сказали, отнюдь не по почтовому ведомству. Скорее все почтовые ведомства служили по его ведомству. Служил, смотрел в глаза начальства своими ясными до сумасшествия глазами, словом, жил не тужил. А потом в один день все сломалось. И сколько он ни паял после того дня свои глаза, ничего не выходило. У любого ведомства есть заветный день, когда ему надоедают бездельники.

Сейчас он напоминал знаменитый утес, здоровенный увалень, метр девяносто, а рост пропорционален весу. И все бы ничего, но нашего, мягко говоря, неофита (давно уже за пятьдесят мужику), подвела привычка строго смотреть на окружавших. Он обвел нас суровым взглядом. Он оглядел нас привычно тяжело и подозрительно. Всех. В том числе и главного. Главному это не понравилось. Мы замерли: главному надо нравиться.

- Вы, товарищ Воробьев, сядьте. - Юрий Дмитриевич прекрасно знал, что выступающий носит более значительную фамилию - Орлов. Но у него в таких случаях была одна отговорка, дескать, доживите до моих лет, еще не то забывать будете. - Нам виднее, у кого кризис, у кого еще что. А вот Хен пусть действительно объяснит, что это за фокусы.

Иностранец начал с места. Сидя. Его подняли и попытались вытащить на трибуну. На происки собрания он гордо ответил, что погорячился и берет свои слова обратно. Но народ уже заинтересовался подводным течением. И народ пошел на все - Иностранцу разрешили говорить с места. Но стоя. Собственно, с этого все и началось...

Мы долго куролесили в родных местах. Потушили со славными пожарниками два лесных пожара, восстановили начавшую было рушиться семью лучшего токаря-карусельщика Васи Рыбина, не приняли участия в браконьерском выезде за хариусом в верховья Кетчима, до смерти напугали местного заправилу Степана Ивановича Копылова, определяющего торговую политику в Чомбее. Во всяком случае, когда прощались, он клялся: ни-ни... И все же принес, подлец, в аэропорт две пары кроссовок "Адидас".

"Адидас" мы не взяли, а Степана Ивановича в последний раз предупредили.

И все было хорошо, и старушка, наша первая с Иностранцем учительница, Валентина Ивановна, плакала от счастья. Она раньше не верила в нас. Я думаю, что и сейчас, в глубине души, не верит. Но Иностранец утверждает обратное. Этот идеалист думает, что человеку так просто забыть серию взрывов, потрясших когда-то стены Чомбейской школы.

Мы уже летели обратно, домой, в Город, Откуда взялся на трассе туман посреди бела дня - непонятно. Нас посадили на Маме, небольшой поселочек с теплым названием. Хотели тихо-мирно посидеть, подумать, помолчать. Но пришел Юрка Ронженин, этот энтузиаст воздухоплавания, этот фанат небесного океана. Он заорал Иностранцу: "Ну-ка, сыми меня на память, Иностранец, сыми для подрастающего поколения, для Доски почета, мамы и Максима". Потом повторил все это на чистейших английском и французском языках. А Иностранца хлебом не корми, дай кого-нибудь снять. А тут Юрка Ронженин, золотой мужик. Золотоискатель, артельщик, седьмые сутки не может улететь в Чомбей, мешают разные субъективные причины: избыток денег, личные привязанности, погода...

И Юрка сразу же после съемки потащил нас к своим друзьям, летчикам-пилотам, тоже золотым мужикам. Они в этот день сдавали техминимум - прыжки с парашютом. Я вспомнил, как Иностранец однажды, под Брянском было дело, обманным путем завлек меня в вертолет-монтажник, в гордость нашего гражданского флота, в МИ-10К, потом, прикрываясь необходимостью снять его работу с земли, позорно бежал, а я удлинял полукилометровую телевизионную вышку еще на 12 метров. И я загорелся мстью. Плохое чувство. Отвратительное. Но трудно оборимое.

Тем более, что времени бороться с ним не было. Юрка бегал, суетился, примерял парашюты, Иностранец снимал его. Я подошел к Генычу Сапожникову, комэску, классный, кстати, летчик, а главное - всегда идет навстречу прессе.

- Пусти его в небо, - попросил я Геныча, - когда еще выдастся такой случай. Мальчонкой, помню, мечтал, все бредил прыжками, вольным полетом, чувством полного раскрепощения. Пусти, Геныч, иначе он себе этого не простит.

Геныч - а в народе просто Сапог - кивнул (немногословный мужик, знает цену диалогам, и уж тем более, монологам), подошел к Иностранцу и напялил на него парашют.

- Тебе разрешили, - тихо сказал я Иностранцу, - остается только позавидовать, У меня вес не подходит.

- Роба твоя бесстыжая не подходит для благородного занятия, - мужественно, хотя и полуавтоматически, пошутил ошеломленный происходящим Иностранец.

И мы сели в "Аннушку" и полетели над всем бескрайнобескрайним простором, над желтой и зеленой тайгой, над темным, даже бурым от собственной стремительности, Кетчимом, и тень нашего самолетика словно бы старалась обогнать его, но где ей, сердешной. И еще внизу то и дело мелькали плавающие, подрагивающие на солнце ртутные пятна, разбросанные щедрой рукой серебряные полтинники: озера, озера, озера - несть числа...

Что, не верите? Тем не менее, все было именно так. И потом, всегда ведь можно проверить. Была бы охота.

- Красив и могуч наш Кетчим-батюшка, - заорал я в ухо Иностранцу. Он посмотрел на меня и я узнал этот взгляд: началась работа. Глаза стали добрыми, Иностранец улыбнулся, и проорал в ответ: "Что? Не слышу?"

- Я говорю, не каждая птица долетит до середины Кетчима, а уж парашютист...

В это время он щелкал "Кодаком". Он снимал мою физиономию, предвкушая победу. Он вёл себя как профессиональный шахматный игрок: я думал, что партия уже моя, но Иностранец нашёл ошибку. Он играл наверняка, просчитывая, ходы гораздо лучше меня.

Он выиграл. Я видел потом эти фотографии, эту гнусную рожу, искривленную самодовольством и местью. Зрелище не для слабонервных. А Иностранец брал реванш за реваншем, каждое рабочее утро он совал красивый пакет со снимками в портфель и бодро шагал в отделение Союза журналистов, чтобы отправить их на международный фотоконкурс "Уорлд пресс фото". К вечеру конверт вдруг опять откуда-то возникал. В конце концов победила дружба - снимки Иностранец сжег. А мог бы, кстати, получить премию. И - если уж честно - мне было даже немного жаль, что он их не отослал. Что-то в этом есть...

Но все это произошло гораздо позже.

А тогда в небе, на высоте нескольких километров от родной земли, Геныч Сапожников кивнул Иностранцу как завязатому парашютисту - давай, мол, - не произнося этих слов, Иностранец сделал вид, что не понял его, тогда Геныч равнодушно отвернулся, а Иностранец подошел к открытой дверке такой походкой, будто у него на ногах были водолазные свинцовые ботинки, и шагнул в родные неоглядные просторы... Он даже не взглянул вниз, он смотрел на меня.

- И поверите ли, товарищи, - складно излагал он благородному собранию свою жестокую долю, - такое было необыкновенное чувство, такая непередаваемая плавность полета, такое. Я с детства мечтаю о раскрепощении. И я его настиг в небе, вернее, постиг! Или достиг? Тьфу ты...

- Счастливчик, - взвизгнула от перенапряжения Лидочка Стресс из отдела писем, - ты, наверное, пел?

- Пел, - вздохнул Иностранец.

- А что пел? - не отставало восторженное существо с тяжелой фамилией.

- Буденовский марш, что же еще! - Тут он угрюмо посмотрел на меня. Я понял, что Иностранец обманывает девушку. Он пел, конечно, другую песню.

Поведав о нанесенной обиде, Иностранец добавил, что Хен - фамилия хоть и корейская, и на слух подозрительная, но не склоняемая и что если кто этого не знает, то пусть зовет его попросту - Иностранец.

- А как же все-таки насчет командировок с Роговым? - спросили жертву интриг товарищи по перу.

Иностранец развел руками - были, дескать, друзья, не разлей водой, но с самой Мамы им объявлен мне вотум недоверия. И снимать его он не собирается.

- Щелкал в полете? - разрядил обстановку мудрец, заслуженный человек ещё с предвоенного времени, главный наш редактор Юрий Дмитриевич!

- Обижаете, - всерьез обиделся Иностранец.

Он открыл свой элегантный дипломат, такую прелестную шутовину, вывезенную из Австралии, достал фотографии. Все, естественно, вскочили, сгрудились вокруг именинника, начались комментарии, восклицания, шлепки по спине Иностранца: "Старик, это то, что нужно газете..."

Именинник счастливо улыбался, хотя и знал, что ни один из этих снимков не пройдет. "Забьют" их другие - более нужные, более актуальные и информационные. Разве что под маркой фотоконкурса... И все же это были именины души и сердца. Это был момент, ради которого Иностранец, вполне возможно, прыгнул бы и без парашюта...

- Сколько вы у меня уже в отпуске не были? - благодушно спросил Юрий Дмитриевич.

- Третий год.

- А сколько за квартал у этих орлов отмеченных материалов? - повернулся к ответственному секретарю глава.

- У одного два, у другого - три...

- Так, - начал приятное резюме благодетель и учитель, - а не кажется ли уважаемым членам редколлегии, что и Хен, и Рогов вполне заслужили творческую командировку?

Вопрос был задан. Ответа на него не требовалось. Когда вопросы задает такой заслуженный еще с предвоенного времени человек, как наш редактор Юрий Дмитриевич, на них можно не отвечать. Надо лишь единогласно проголосовать. Что и было сделано.

Разное потом говорили недобрые завистники из дружественных отделов: и что у Юрия Дмитриевича как раз в предыдущий вечер закончился многодневный приступ язвы, и что мы специально разыграли спектакль с обидой Иностранца и вотумом недоверия, зная, как ценит редактор единство и монолитность коллектива, и как рьяно он кидается замазывать даже едва заметные трещины... Разное. Но это уже их личное дело. Протокол решения редколлегии был передан по инстанции, и с завтрашнего дня мы с Иностранцем числились в десятидневной творческой командировке.

А что такое, товарищи, творческая командировка? Честно говоря, она мало чем отличается от простой смертной, рядовой и будничной. Выбираешь тему, города, покупаешь билет, летишь, собираешь материал, пишешь, сдаешь... В этом месте нужно сделать небольшую актёрскую паузу И... Вот оно отличие. Можно ничего не сдавать. Можно сказать: материала не будет - и не попасть при этом в касту неприкасаемых... А так как мы с Иностранцем в касте были своими людьми, правда, по другим причинам, отнюдь не творческого характера, то тут же, прямо на летучке, про себя решили: мы еще вам докажем. Мы привезем материал. И не один материал. Два. И каких - только на доску лучших. И все это было очень похоже на постоянно действующий договор с внутренним голосом. Что, дескать, в понедельник с утра (желательно часов с пяти тридцати) начинается новая жизнь.

Начинается-то она с утра, но заканчивается, как правило, после обеда.

\* \* \*

После обеда солнце становится врагом народа. Оно жарит, парит, морит, а может и ткнуть... Злодействует и доводит людей до незаметной истерики.

Но к вечеру даже у него силы иссякают, и могучее светило убирается с большой дороги.

Дни стоят необыкновенно жаркие для Города.

Я вышел на перекресток Редакционной улицы и Проспекта, чувствуя себя не совсем обычно. Исчезла, пропала куда-то тревога, "пожизненный" дискомфорт. Я к этому не привык. С душевной гармонией у меня сложные отношения мы с ней на вы. В конце концов она меня - если случается, как сейчас - допекает больше, чем обычная смута, тревожная неопределенность. А странно: нет, вроде бы, ничего такого, что давило бы камнем, пой и веселись, а не поется...

...Или сам дискомфорт. Дело не в слове, слово хреновое, согласен, а что за ним стоит. Вот даже то, что сейчас пишу - уже он и есть. Плохо, но хорошо. И хорошо, но ведь все-таки плохо. Так, черт возьми: плохо или хорошо? Вот тот, кто это поймет, счастливчик. Или наоборот, пропащий человек. Дискомфорт...

- Это скоро пройдет, - утешал я себя, - но все-таки, что-то уж слишком хорошо. Кто-то играет против нас. Надо вычислить противника, надо найти на него управу...

Но нет. Такси остановилось по первому взмаху руки, молодой человек приятной, наружности включил магнитофон, и оркестр под управлением Поля Мориа запел о чем-то своем. Наверно, о любви...

- Старина, останови здесь, - я решил пройтись. До дома недалеко, несколько троллейбусных остановок, а погода к вечеру была, повторяю, замечательной.

- Есть, командир, - мы расстались, довольные друг другом и я приступил к моциону. Через минуту радостно - будто только меня и ждали - закапали первые капельки грибного дождя. Через две он разошелся вовсю. Он делал со мной, человеком, привыкшим прогуливаться не с зонтиком, а с чувством собственного достоинства, все, что хотел: окатил, разворотил пробор, промочил туфли, заполз за воротник... словом, за что-то примерно наказал.

- Так вот он, играющий против нас,- догадался я.

Я имел в виду даже не дождь. Я имел в виду того, кто распоряжается дождями.

А, впрочем, если есть такой, то он наверняка ничего не имеет против нас. Просто все, что он имеет, он имеет, если можно так сказать, за себя. Тут главное понять это вовремя. Но мы это очень редко понимаем. Очень редко, А главное - поздно...

А ведь стоит только - вовремя! - отвлечься, стоит хоть раз сообразить... И все ясно. Кто с нами. Кто против нас. И не надо никакой игры. Зачем играть в эти игры, если и так все ясно. Да не в жизнь ему не вовлечь нас в свои игры...

Но нет. Не отвлекаемся. Играем. Играем, играем, играем. "За" играем. "Против" играем. И, бывает, выигрываем. Хотя на самом-то деле, проигрываем... И не родился еще человек, который не только смог бы мне объяснить, зачем он это делает, это как раз не трудно, но и убедить, что игры эти пора включить в программу Олимпийских. Скорее наоборот - чем больше он меня бы убеждал, тем больше я бы убеждался, что они человечеству вредны. Тут ничего не поделаешь, я из тех людей, которые обязательно выслушают, но не обязательно согласятся.

Да что там... Ну да, да. Иногда и мне приходится в них участвовать. Оправдаться могу лишь тем, что всегда при этом мучаюсь толстовским разрывом между мечтой и действительностью.

Тем более, скажет строгий, трезвый, здравомыслящий читатель, что никого и ничего такого, распоряжающегося дождями, нет.

Да, конечно же, дорогой читатель. Нет. Нет, не было, и не будет.

А дождь есть. И я - вот она, человеческая сущность, - я был доволен, что интуиция меня не подвела.

А потому спокойно шел дальше.

Иностранец, как и следовало ожидать, позвонил в начале первого ночи. Без такого звонка примирение не считалось бы полным и окончательным. Нужна была точка над "i", последняя капля в чаше, еще одна гирька для равновесия, это было нужно, это было необходимо, мы оба это понимали, но телефон на квартире был только у меня, его дом должны были полностью телефонизировать или в следующем, или лет через пятнадцать – то есть, в двухтысячном году.

- Старик, - говорил, шептал, кричал он в трубку, - старик, ты должен быть здесь. Ты просто обязан. Старик, ведь ты их еще не знаешь, я правильно мыслю?

- Кого?

- Как кого? Али и Мохаммеда. Старик, они рассказывают такие вещи, а еще лучше танцуют. Я, правда, не знаю, поют ли они. Старик, они поют. Вот послушай... Я не знаю, на каком языке, наверное, на филиппинском, если они с Филиппин. Это в Юго-Восточной Азии, как зайдешь, налево... Сам знаю, что не оригинально, но ничего с собой поделатъ не могу. А ребята что надо, то ли режиссеры, то ли кинокритики. Значит так, берешь такси, и приезжаешь в пресс-бар "Гостиницы". Мы сидим рядом со входом, как зайдешь, налево... Какие шутки, Рогов? Какие шутки, когда рядом иностранцы. Я весь в напряжении, я слежу за своей речью и мимикой, и мне трудно здесь одному. Они ведь из другого мира, у них все по-другому, надо быть настороже. Ты приезжай, побудь со мной настороже. Это не так трудно, как кажется...

"Гостиница" гудела. Очередной международный фестиваль, который Город проводит через каждые два года, приближался к финишу. Гости и участники, после просмотров и деловых бесед, после суматошного дня, предавались скромным утехам за маломощными коктейлями и еще за чем-нибудь. Большой популярностью пользовался напиток "Джус энд..." дальше по вкусу. И орешки. Да, мадам, и орешки. Нет, нет, плачу я, это гости. Это гости с Филиппин, у них там все по-другому, и порядки другие, и валюта другая, поэтому сегодня плачу я. Я как раз сегодня получил массу незапланированных денег, своих, советских, кровных, командировочных. И я плачу...

И он платил. Стаканчики на столе уже громоздились друг на друга, от орешек першило в горле, а Мохаммед и Али объясняли Иностранцу свое понимание системы Константина Сергеевича Станиславского. Он слушал одного и кивал - понимаю, он слушал второго и кивал - понимаю, хотя не понимал ничего. Конечно, объяснить свое понимание системы Константина Сергеевича тоже не так-то просто. Но мы старались, уже вчетвером, и, ей богу, что-то уже понимали...

А потом к нам за столик подсел Мишка Сольвейг, большой знаток филиппинского кинематографа. Он раздолбал их за один фильм, потом за другой, а мы с Иностранцем дружно толкнули Мишку ногами под столом, и он начал их безудержно хвалить, и его оценки полностью совпадали с нашими, а потом и с оценками сидящих за другими столиками, и Мишка разошелся до такой степени, что заявил о новой эре в кино, которую несет эта страна всему цивилизованному миру, и погладил их по головам, выпил на брудершафт с ними, и со мной, и с Иностранцем, и мы решили, что такой замечательный вечер обязательно надо продолжить, но уже было утро, и Иностранец, в свою очередь, заявил, что мы должны сейчас срочно впятером поехать в творческую командировку, а первый ее пункт – Бухта...

Мишка взял "рафик", и мы поехали в аэропорт, чтобы на самолетах славного Аэрофлота отправиться на самый расчудесный Край Земли, прямо рядом с Аляской, в Бухту, там у Рогова ностальгические места, он по ночам плачет, вспоминая о них, он там два года служил в армии, чтобы мы в это время спали спокойно, и мы в это время спали спокойно, и Иностранец, и Мишка прекрасно помнят, как спокойно спалось им в эти годы... Они просто хрюкали от счастья, ложась спать и вспоминая, что их сон надежно охраняет Рогов. Два года. Каждый вечер.

Состояние наших душ, в которое мы так уверенно вошли, может кому-то показаться вполне доступным и простым. Это так, но это и не так.

В разное время разные люди - и очень мне близкие, и не очень, - пытались как-то объяснить, назвать его. Могу дать клятву на библии, на коране, да на чем угодно, что ничего у них не получалось. Например, мой отец называл это недружественным актом по отношению к родным. Мама говорила так: "И когда вы уж всю-то ее выпьете?" Мама заблуждалась, хотя и совершенно искренне. Алкоголь в таких случаях не играет большой роли, бывало, обходились "Боржомом", и то же самое, поверьте мне, человеку, неоднократно испытывавшему подобное. Мачеха Иностранца была лаконичнее, она называла все одним, но неправильным, словом.

Реальность, со всем ей сущим: здравомыслием, расчетом, окриком на себя про себя, хватанием собственной руки, осталась где-то позади. Она канула во вчерашнем дне. Иллюзорность происходящего зажимала нас в свои ювелирные тисочки. Мягко и настойчиво. Постепенно. Она шептала, что жизнь такова, что все, что было вчера, неправильно и неестественно, все должно быть так, как происходит сегодня, сейчас. И что она, иллюзорность, и есть реальность. Настоящая. Уверенная в своей правоте. Вправе диктовать нам свои условия. Преподносить истины. И мы с удовольствием подчинялись, обманщице. Мы ее знали, мы ей доверяли, в конце концов, мы ее любили. Я даже и не знаю, как бы мы жили, не будь ее хоть иногда рядом.

Иностранец с Мишкой рыскали по служебным этажам аэровокзала, доказывая представителям Аэрофлота необходимость нашего немедленно вылета в Бухту. Они это делать умели, не было еще случая, чтобы эти двое не смогли убедить людей в простой и элегантной синей форме. Иногда некоторые из них даже выходили на летное поле, чтобы помахать вслед набирающему высоту комфортабельному лайнеру. Но, видимо, на этот раз дело было архисложным: ведь и Али, и Мохаммед изъявили горячее желание посетить незабвенную Бухту, это суровое гнездо для настоящих мужчин. М-да, устроить пять человек на переполненный рейс? Тут мимо нас, жуя на ходу бутерброд с черной икрой, пробежал Вахит Загидуллин, штурман с ИЛ-18 (северный вариант).

- Летим из Петрозаводска, в командировке были, теперь на СП, без захода домой, сразу на льдину, мужик там погибает, операция нужна, на льдине делать не решаются, будем вывозить, экстремальный рейс, двойная оплата, за посадку и взлет отдельно, да не в этом дело, надо мужика спасать, я его знаю, вместе в Арктическом училище бултыхались, может за один раз двенадцать кружек пива проглотить, бросьте вы эту Бухту к чертовой бабушке, давайте с нами, но только чтобы ни одна живая душа, а то отберут пилотские свидетельства, а дома этого не поймут, командир наш мужик четкий, да ты его знаешь, Клепиков, Юрий Иванович, сейчас договорюсь, уже договорился, да пошли старички, в полете пить нельзя, а впрочем, это ваши проблемы, так летим?..

- Спрашиваешь, - закричал Мишка, - но есть одно но, просмотр фильма "Тропики не прощают", я обещал написать рецензию в "Кругозор", как быть, старики?

- "Тропики не прощают", - заволновался в ответ Мохаммед, он уже вполне сносно говорил по-русски, - О-о-о, "Тропики не прощают" - это мой диафильм. Я не могу оставить свой кинокартин, даже если за ним присмотрит наш Мишка. Это как ребенок, я должен быть рядом...

- Летим вдвоем, - на бегу решил Иностранец. - Не забудь поставить с премии, Мохаммедыч, рады были познакомиться, до встречи на Филиппинах, Мишка, отдай Татьяне Филимоновне из "Кругозора" четвертной, долг моей чести, приеду, рассчитаемся.

Мишка в ответ так закивал головой, что было ясно, что, конечно же, не отдаст...

ИЛ-18, северный вариант, хороший самолет. Специально приспособлен для полетов над океаном, на дальние расстояния. Удивительное дело: когда летишь на простом, пассажирском лайнере, со всеми удобствами, которые тебе предлагают стюардессы, и часа спокойно не просидишь. То то не так, то это не эдак. Да и удобств, по сути, нет никаких. Сидишь себе - и сиди. Час, два, три... смотря в какую географическую точку нашей необъятной страны тебя несет. Совсем иначе чувствуешь себя в спецсамолете, особенно в северном варианте. Небольшой пассажирский салончик, человек на шесть-восемь, расположен сразу за кабиной пилотов, дальше грузовой отсек. И можешь бродить где тебе вздумается. Или жарить картошку с тушонкой на электроплитке. Или разливать остатки былой роскоши в алюминиевые кружки...

- А вот смогла бы ваша, филиппинская женщина, как наша Анна Каренина, лечь на рельсы, остановить жизнь, поняв, что ей не будет уже счастья на этом свете, - пылливо всматривался Вахит Загидуллин, страдающий от сухого закона, в смуглое лицо Али.

Али надолго задумался, а потом ответил, произнося слова почему-то с грузинским акцентом: "Нет, не легла бы. У нас вообще по-другому"

Я спрашивал Али, откуда у него этот акцент, ведь и русский он почти не знал до сегодняшнего дня, и с грузинами никогда знаком не был. Али хитро щурился, отмалчивался, а потом все свалил на лингвистический феномен.

- Нет, ты подожди, - горячился Вахит Загидуллин, - я сейчас не про то, как и что у вас там на Филиппинах с женщинами, я сейчас принципиально хочу выяснить вопрос: ты ее уважаешь, Анну Аркадьевну, нашу, или ты ее не уважаешь?

- Я ее не понимаю, дорогой? Зачем бросаться под поезд, когда все можно было бы устроить. Ну, вернулась бы к мужу, или не возвращалась бы, нашла бы себе другого Вронского, или не находила бы ... Да и вообще все можно было бы сделать проще, а? Не догадываешься как, мужчина?

- А любовь, - страшно закричал Вахит Загидуллин, - а любовь это тебе что, так, как болезнь, как корь, да, переболел и забыл, да? Ты это хочешь сказать! А по роже твоей неумытой...

- Да невозможно жить и всю жизнь любить. Одного человека и всю жизнь - возвышенно. Какое-то время можно, а потом... В конце концов, ведь вокруг много других людей... Вот у нас на Филиппинах тоже был случай...

Вахит яростно встал и вызвал меня в грузовой отсек.

- Я его высажу, - холодно молвил он мне, - сейчас скажу командиру, чтоб сел на ЗФИ, и высажу. Не могу я больше с этим рационалистом в одном аппарате находиться. За себя не ручаюсь.

- Тогда и мы с Иностранцем выйдем, Вахит. Али гость, и это мы его с собой поволокли. Так что решай...

- Эх, если б я раньше знал, какая у него ледяная душа, - горестно вздохнул Вахит Загидуллин.

- Слушай, а может ты поторопился с выводами? Все-таки филиппинец. Ты думаешь, если он по-русски шпарит, так и Анну Каренину понять может? Да ее не все русские понимают, балда ты. А говорить он умеет, кажется, на любом языке. Ты же слышал: лингвистический феномен. Говорить - не думать...

Тут я на секунду задумался. Конечно, когда уговариваешь, язык сам по себе молотит, но все же: "говорить - не думать", каково, а?! Вот такая околесица и может стать крылатой фразой. Прямо-таки изящная словесность. Уж кто балда, так это я.

И я продолжил так – «вернее, не всегда думаешь, так, как говоришь. Поверь: у Али еще все впереди. Еще поймет, осознает, почувствует».

- Ты так считаешь? - Обрадовался он. - Вообще, черт его знает, я вот так сначала вспыхну, а потом успокоюсь, посмотрю - вроде ничего чувак. Вроде наш человек. Спасибо, что ты меня вразумил. Век тебе не забуду. А то бы я его на ЗФИ...

Земля Франца-Иосифа... Кто знает, как сложилась бы на этом архипелаге судьба филиппинца Али. Думаю, что жилось бы ему поначалу не сладко. Это уж точно. Но, благодарение Богу, - Вахит Загидуллин прекрасно знал свои слабости и постоянно их преодолевал. Почти ежедневно, насколько мне известно.

- Хороший парень. - Сказал Иностранец. - Но... лоббист немного.



- Кто? - Мгновенно встрепенулся Али.

- "Нам только политики сейчас не хватает", - подумал я.

Но Али выдал совершенно неожиданное. А Иностранец не остался в долгу.

- Лоббист - это человек, который любит лоббию?

- Нет. Это человек, который любит ходить в лобовые атаки.

Вероятно, они думали так же, как и я.

И мы летели дальше, уже не над земной твердью, а над Северным ледовитым. Воды внизу почти не видно, так, иногда, полыньи да промоины, а в основном белая чистая поверхность с торчащими торосами да, пожалуй, и все... Ну, может, еще медведь куда-то проканает - больше ничего интересного.

И грусть сжимает непонятная. Сколько же всего: верности, подлости, забот, смятений, неожиданных встреч, запланированных расставаний, слез, улыбок, трогательных вопросов «Мама, ты же всегда будешь», берущих за душу ночных одиноких мелодий, нелепых дневных песен, - сколько всего осталось там, на материке.

Здесь стерильно. Здесь ничего этого нет. Здесь, казалось, можно было бы подумать о душе. Здесь плацдарм, на котором удобно начинать все с нуля.

А мысли совершенно нелепые: когда долетим да повернем обратно...

О душе-то можно подумать и в самом обычном месте, и в самое обычное время. Сидел как-то дома, в Городе, и вместо телевизора смотрел на далекий истребитель, белой полосой перечеркивающий мое окно. Я думал, что хорошо, наверное, сейчас на душе у пилота, летящего над предвечерним Городом, который еще не стал осенним, но уже и не совсем летний. Но почему у пилота? Это я летел над предвечерним Городом, в этом летне-осеннем пространстве. Это с моей душой творилось что-то хорошее.

Что? - Думал я. - Что?

А здесь - скорей бы назад. Впрочем, нас и впереди ждал островок земли - СП.

Ас, полярный летчик, арктический стаж тридцать лет, все видел, в переделках бывал неоднократно, однажды вместе с АН-2 чуть на дно океана не ушел, лед подвел, а сидя неделю по погоде на одном из островов Северной Земли, ас проиграл в покер все три тысячи, взятые на шубу жене, и ребята, вернувшись домой, шубу сами покупали, а деньги отдавать и не пробовали, ясно, не взял бы (кстати, он считал это самой крупной переделкой в своей жизни, а его утешали архаровцы: какие, дескать, твои годы, все впереди), Юрий Иванович Клепиков посадил свою северовариантную птицу красиво и вышел к нам: дайте ребята чего-нибудь пожевать, все-таки волновался, кто знает, какой лед, не сезон ведь, полеты уже полгода назад прекратили, а когда волнуясь, жрать хочется, хоть кричи, хоть родную маму зови, а где она, мама, сколько тысяч километров до родного поселка, сидит старушка, ждет, тоже, поди, волнуется, такая она у меня, мама, скоро уж восемьдесят, а может и гопака сбавить.

Тут и ребята, эспешники, ворвались, собак понапустили, бородатые, нервные очень, шпана шпаной, чего кричат, жуешь, старый черт, опять про маму свою, а у нас мужик погибает, что-то с животом, доктор смотрел, говорит, может быть прободение, куда его положить, вон он, бедный, на носилках корчится, и поговорить толком не успеем, надо вам опять в воздух подниматься, и пусть Вахит Загидуллин, наш лучший штурман отряда, по звездам наикратчайший путь выберет, довезите

мужика до больницы, феноменальный парень, может двадцать две кружки пива проглотить, а тут поди же ты, и на старуху бывает проруха, давай, заводи моторы, от винта.

Феноменальный парень сквозь боль и маету, сквозь сжатые зубы, говорил, что жаль, что так все получилось, ты, Боб, последи за приборами аккуратно, а не как в прошлую зимовку, одну сгущенку жрать горазд, а как в пургу показания снять, тебя нет, так и знай, завалю я докторскую, ты завалишь кандидатскую, и еще рожу тебе начищу, лучше в Питере не появляйся, дай я тебя поцелую, собак не забывай кормить, бестолочь, прощайте друзья, до следующей зимовки, слушайтесь начальника станции, Ивана Петровича, он ведь только добра вам желает, и плохого никогда не посоветует, и еще ни одного приказа письменного не издал, все больше на вид, да устно, это ведь тоже ценить надо, я не ценил, видите, что получилось, а это кто...

Тут он затих на секунду, потом на глазах у нас собрался с силами и заорал: "Корреспонденты, мать их итти, они же такого теперь понапишут, ты, Боб, придурок, в согнутое колесо, куда смотрел, они же теперь из меня роженицу на высоте восьми километров изобразят, у них же ни чести, ни совести, а меня потом на зимовку в АА НИИ не пустят, ноги вам, ребята, повырываю"...

И вот в этом месте ему уже по-настоящему стало плохо. Так худо, что мы перепугались - не долетит он с нами до земли, так и останется на небесах. Жалко было старичка до слез, а сколько наука потеряет в его лице, но что делать, если бы кто знал.

Знал Иностранец. Он отвел Али в сторону, и что-то ему такое сказал. Один Иностранец умеет такое говорить. Очень убедительно получается, еще никто не мог устоять перед доводами, натиском, аргументами, фактами и личным обаянием Иностранца. Даже иностранные подданные. Али брыкался, жестикулировал, корчил страшные рожи, наподобие инкских масок, и что-то частил... Это было на него, человека спокойного, не похоже.

Они подошли к нам. Феноменальный парень, похоже, уже растерял весь свой пульс. Жить ему оставалось недолго.

Иностранец легонько и ласково подталкивал Али к носилкам.

- Давай, миленький, давай, покажи нам свое седьмое чудо света, а если стесняешься, то мы отвернемся, а хочешь, я тебе помогу, хочешь, я тебе ассистентом стану, хочешь, я всю жизнь ассистировать буду...

- А как быть с клятвой, данной в храме? Она запрещает нам делать операции в самолетах, - уже совсем неуверенно занудничал Али.

- А по тылке волосатой? - Мгновенно менял тон Иностранец.

- Но меня дисквалифицируют, могут на полгода, если узнают. Я не хочу быть дисквалифицированным... В конце концов, долг чести...

- А по тылке волосатой? - Тем же тоном продолжал интересоваться мнением Али по этому вопросу Иностранец.

- Хорошо. Я подчиняюсь насилию. Вы все выступите свидетелями, когда меня будут дисквалифицировать. Жду вас в Маниле в конце месяца.

После этого Али вплотную подошел к отдающему концу. Он что-то там пробормотал, мы подумали, что шаманит, но, как потом оказалось, он лишь продолжал высказывать сожаление по поводу будущей дисквалификации, затем неуловимым движением, ребром ладони, рассек правую сторону живота нашего полярника, теперь уже точно будущего доктора наук, достал из чрева что-то

трепещущее и заорал Иностранцу: "Ну, что же ты не помогаешь? Держи аппендикс, мне еще надо над раной поработать".

И я (все мы) опять убедились, что Али не врёт насчет лингвистического феномена. На этот раз он повладимирски окал, чистый русак, ей богу. Иностранец робко взял аппендикс и замер.

- Давай спирт - продолжал орать Али, - черт нерусской...

- Вот еще старообрядец нашелся, - потрясенно огрызнулся Иностранец, - ты на себя в зеркало посмотри...

- Не надо, ребята, спирт, - вздохнул больной, - рано мне еще спирт. Слабость чувствую. Я бы сейчас пивка выпил. Знаете, в Питере даже не на спор, так, для собственного удовольствия, по тридцать кружек заглатывал. Эх, на Невский бы сейчас.

Мы обступили место действия и начали рассматривать живот героя. Раны не было. Шва не было. Абсолютно гладкое мужское пузо. Али гордо стоял в стороне и молчал.

- Я тут ничего в забытье не вспоминал? - конфузливо спросил Ученый.

- Вспоминал, вспоминал, - успокоил его Иностранец, - в основном по матери...

- Да, да, старушку-мать, очень часто, - вступил в разговор филиппинец.

- ... в основном мать и бога, - сурово посмотрел на слабо разбирающегося в тонкостях нашего бытия чужеземца Иностранец, - вот уже не думал, что есть верующие доктора наук.

- Больно было, - заржал Арктический волк, - да и потом, я еще только кандидат. А кто это меня так ловко чикнул?

- Вот его благодари. - Иностранец в который раз уже подтолкнул к носилкам самобытного хирурга, по заграничному - хилера.

Уже одно это слово должно насторожить порядочного человека.

Те, кто не знает перевода, так и думают - негодяи...

- Да, насчет благодарности, - оживился Али, - обычно мы, филиппинцы, берем за эту несложную операцию пятнадцать долларов. Сейчас подсчитаю по курсу, сколько это в рублях.

Он взял у Вахита Зигидуллина карандаш, бесцеремонно сел на рабочее место штурмана спецсамолета, лайнера ИЛ-18, северный вариант, и начал высчитывать причитающийся ему гонорар, а мы от всего этого немножко опупели, ну подумайте сами, здесь, над великим океаном, за многие тысячи километров и от родной земли, а тем более, от капиталистического лагеря, мы лицом к лицу, вплотную, столкнулись с уродливым явлением, с жестоким, бесчеловечным законом частного предпринимательства, и Вахит Загидуллин сказал, что зря мы его не высадили на ЗФИ, а Иностранец возразил, что тогда наш ленинградский соотечественник уже стучался бы в какие-нибудь врата, или рая, или ада, скорее всего второе, поэтому черт с ним, он уже в уме подсчитал, это где-то выходит четвертной; здоровье советского человека дороже, но от Али он этого не ожидал, может ему действительно по тывке волосатой дать, да ведь не поймет за что, и мы торжественно вручили ему деньги, и решили сначала объявить бойкот, а потом рассудили, что он-то здесь ни причем, его таким система воспитания сделала, просто он так же привык брать деньги за лечение, как мы не платим за него, и мы отменили не начавшийся бойкот, а Иностранец довел все наш умозаключения до сведения Али, который чуть не прослезился от такого понимания и участия, он подошел ко мне и купил у меня "Паркер" за четвертной, и тут же подарил ручку Иностранцу, потом достал откуда-то

нам филиппинского напитка под названием "Окейа", а больному безалкогольного пива, а я позвал Иностранца в грузовой отсек и отобрал свой "Паркер", а ему отдал злополучные двадцать пять рублей.

Потом мы сели за хорошо убранный стол, выпили за здоровье Ученого и Хирурга, и за свое здоровье. "Окейа" была вкусной, терпкой, горькой и еще какой-то, сразу не разберешь, и уже тем более, не объяснишь.

- Очень вкусно, - в голос похватали мы Али. Он поблагодарил нас выражением лица.

- Но непонятно, - продолжили мы.

- Что непонятно?

- Она с градусами или без?

- А кто там ее знает, - загадочно объяснил Али.

Мы, признаться, уже начали привыкать к этой его манере. А что?

Хилер - он и есть хилер.

Бывший пациент пил безалкогольное пиво и морщился с непривычки, Вахит Загидуллин тянул из кружки морс и время от времени грозил Али пальцем. Али смущенно улыбался в ответ, а когда пропустили по четвертой рюмке "Окейи", сказал, что он гонорар потребовал исключительно в профилактических целях. Нас это очень заинтересовало, и Али объяснил, что он боялся своего характера: вот так раз не возьмешь гонорар, второй раз уже как-то неудобно, третий раз уже просто стыдно, словом, это - заразная болезнь, которая однажды уже сделала его нищим. Спасибо, дружок выручил - вылечил. Он там у них один из самых главных капакул. Выслушав такую исповедь, мы, конечно, развели руками и сказали: "Ну, вы ребята даёте!"

\* \* \*

... Когда я и Иностранец только родилась и начали свой жизненный путь, то случилось это около Чомбейского базара. Нас так все и называли, базарские ребята. Роддом стоял прямо напротив местного аукциона, а слева и справа - дома, в которых мы жили. Редко, но бывает. Это отложило неизгладимый отпечаток и на отношение окружающих к нам, и на наше поведение в ответ на это отношение. Запевали лебединую песню обычно учителя. Не все, некоторые. Они пытались свалить на нас все грехи, иногда даже чужие, поскольку мы базарские, и только от нас и можно ожидать какой-нибудь пакости. Предполагалось, что базар тлетворно влияет на наши неокрепшие души каждый день, и может каждый вечер. С чего? До сих пор не могу понять. И ведь воспитывались вроде в приличных семьях, и в школе об этом знали. Ну, правда, мог мой папа в пятницу после трудовой недели в тресте "Чомбейзолото" позволить себе отдохнуть, мог после этого спеть песню "На Молдаванке музыка играет, на Молдаванке жулики живут". Мог. Имел право. Тут мне все ясно, кроме самой "Молдаванки". И ведь что интересно: трезвого заставить петь - слова не вспомнит. А когда выпьет, голосит вовсю. Откуда она взялась, ума не приложу. В Одессе отец отродясь не бывал, да и с блатными никогда в жизни дел не имел. Остается только фронт. Двадцать пятый год рождения, успел хлебнуть вдоволь. Но и это лишь догадки. Отец о фронте почти ничего не рассказывал.

... И могла моя мама иногда такое завернуть, что даже у папы уши вяли, так ведь ей без этого нельзя, она руководила коллективом грубых мужиков в Чомбейских ремонтных мастерских, и не умеет она так заворачивать, мужики только бы и грубили целый день, и ничего больше не делали. Но в целом семья была благополучной, интеллигентной, и когда в "Новом мире" напечатали роман великого

Мастера "Мастер и Маргарита", в доме был настоящий праздник. А уж отец Иностранца, тот и вовсе был божьим человеком, слова неласкового от него не слышали, только и знал, что книги читать, да в огорожке копать. Про мачеху его ничего не скажу, да и что говорить, мачеха, она и есть мачеха, она и в Африке мачеха.

Мне кажется, мы не были трудными подростками.

Иное мнение имела наша биологичка Евгения Николаевна. Конечно, здесь не только базар сыграл роль, были у нее и другие мотивы для личной неприязни.

А началось все с пустяка. Ведь рассудите сами, с кем не бывает: назвала Евгения Николаевна античную фигуру "Дискобол" по-своему - "Баскетбол". Растянула эдак: бас-кет-бол. Ну, это пустяк. С любым может случиться, тут стесняться нечего. Мы осторожно поправили своего классного наставника, указали ему на недопустимость, привели название в соответствие, но деликатно поправили, почти шепотом. Тут бы ей как-нибудь сманеврировать, маневр сделать, отшутиться, дипломатию, словом, применить, ну взрослый же человек, ей богу, не нам ее этому учить, а она ни какую - "Баскетбол", говорит, и точка, и никаких, дескать, "Дискоболов", знать не знаю, и ведать не ведаю, и нет их в природе, а мы, презренные базарские, мы еще свое получим, жизнь еще воздаст нам по заслугам. Кстати, в последнем была правда. Но тогда и я, и Иностранец вышли из себя, кончилось у нас терпение, хотя и было ангельским, и мы тут же, посреди урока биологии, встали и пошли в кабинет английского, и привели оттуда учительницу иностранного языка, очаровательную Симочку, и она, рафинированная интеллигентная девушка, страдающая от рефлексии, но, тем не менее, даже в процессе релаксации, в городском парке, на танцах, не позволяющая никому из учеников ничего лишнего, и красивая Симочка, услышав в чем суть спора, заплакала, и все приговаривала, что, мол, бедные мы ребята, что же из нас получится при таком учении, но ничего, жизнь выучила, но в ту минуту, и мне, и Иностранцу, так искренне стало жаль себя, и всех наших одноклассников, что мы пошли и пригласили на урок биологии директора Прокопия Гурьевича, а пока ходили, Юрка Ронженин крикнул с "Камчатки" Симочке, на итальянском языке это прозвучало так: "Не плачь, крошка", а Симочка, почувствовав что-то приятное, сквозь слезы попросила Юрку Ронженина повторить все по-человечески, в ее понимании это означало по-английски, и Юрка Ронженин сказал ей это по-английски, но еще он добавил, что в лице этой мегеры она нажила себе врага, и тут уже Евгения Николаевна почувствовала что-то неприятное, взвилась и сказала

Юрке Ронженину, что он сам это слово, а тот спросил, какое, мегера или враг, а Евгения Николаевна ответила, что он оба эти слова. Юрка Ронженин совсем офонарел, и захотел узнать, как это он, мужчина, причем уже давно бреющийся, может быть мегерой и почему она такое себе позволяет в его адрес при Симочке, и вообще, как понять, что он "оба это слово", но биологичка не растерялась, вмиг поправилась, сказала, что оба слово - это он, а тут и мы пришли с Прокопием Гурьевичем, и вдруг увидели, как смотрит Симочка на Юрку Ронженина, и по-хорошему позавидовали им, и уж совсем забыли было, зачем здесь собрались, ведь на наших глазах зарождалось чувство, это не каждый день понаблюдаешь, но директор есть директор, он понаблюдал, а потом вспомнил, зачем пришел, а мужик он справедливый, но гневный, это у него еще с войны, контужен был в танке, и он таки задал перцу Евгении Николаевне, и нам уже жаль ее стало, тем более, что Прокопий Гурьевич сделал это, как всегда не очень-то тактично и педагогично, прямо в классе, при нас, при детях, и мы тут же указали ему на этот изъян в поведении, а он сказал в ответ, что мы, базарские, доведем его когда-нибудь, и он нас нечаянно заденет.

Мы не любили базар. И не только за то, что его географическое расположение отравляло нашу жизнь. Нам не нравилось, как его обитатели обращаются с формулой "товар-деньги-товар". Нам не нравились краснорожие (и не только с похмелья) здоровые мужики, продающие почему-то клубнику, ехидные злобные бабки, спускающие свежие огурцы по бандитским ценам, о помидорах я уж и не говорю (или - о боже! - но я молчу, нахальные толстые тетки, с

профессиональной ловкостью орудующие в мясных радах. А бывшего вора в законе Валерика мы вообще в гробу видели. Валерик в зоне, чтобы не работать, оттяпал себе левое запястье, а выйдя на свободу, решил переквалифицироваться из карманников (это ясно - как же без руки кошелек таскать) в спекулянты. В Чомбей он привозил перекупленные овощи ранней весной, и на базаре ему завидовали, потому что он был с размахом, а остальные делали бизнес в рамках родного города.

Вечером Валерик, пересчитав трешки и пятерки, сложив их в аккуратную пачку, а пачку перетянув резинкой, говорил нам: "Листы, пацаны, все могут. Так и зарубите". На что Иностранец, спокойно закулив предложенную сигарету "Аврора", отвечал: "Ты бы, Валерик, подальше от нас держался. А то неровен час, глядишь, вторую руку рубить придется"!

- Ты че это?

- А то, - говорил уже я. Очень туманно и загадочно говорил. - Следим мы за тобой. Давно следим...

И Валерик, только что пытавшийся растлить ребячьи души, плевался, ругался, но все же с несомненным страхом выяснял, как и для чего следим. Так и не разобравши, правда ли, или на понт пацаны берут, уходил, увешанный торбами и корзинами.

Через час он возвращался, уже после портвейна "777", самонадеянный и амбициозный, и начинал, без разговоров, в буквальном смысле слова отслюдивать нам тройки и пятерки из своей и без того уже замусоленной пачки.

- А можем и просто рожу начистить, - глядя на его суету заключал Иностранец.

Валерик после этого обретал дар речи, терял самонадеянность и амбициозность, начинал все сначала: опять строил трехэтажный мат, кричал, что "век воли не видать, замочит щенков", уходил, возвращался, и, стирая пот с лысоватого черепа, говорил смирно: "Слышь, пацаны, грешно инвалида заламывать. Вы уж лучше рожу, пацаны, а?"

А после этого, чуть не плача, рискованно врал: "Я же полтора месяца паханом в зоне был, это вы понимаете?"

И Валерик удалялся, в этот вечер уже насовсем, маленький крепыш, постоянно держащий левую руку в кармане.

Нам была отвратительна конъюнктура рынка, но знали мы ее хорошо, поскольку волей-неволей проводили на базаре большую часть свободного времени. И отношения между этой братией нам были известны досконально, тем более, что и знать-то особенно было нечего - все строилось на рубле. Без рубля - ни шагу, лишнего, ни слова, ни поступка. И нам не нравилась ежедневная трехрублевая опера, и мы не были трудными подростками. Но и легкими, пожалуй, тоже.

\*\*\*

... И сейчас нам было тяжело. Конечно, все сидящие за столом в пассажирском салоне ИЛ-18, северный вариант, отлично понимали, что Али пошутил. Он сделал это виртуозно, в несколько заходов. Мы знаем толк в шутке. Мы умеем ценить тонкость розыгрыша. Мы сами в этом деле так преуспели, что нередко страдаем от него. Сколько раз сидящим здесь доставалось из-за того, что шутили они не вовремя и не там, где можно шутить! И сколько еще достанется...

Продюсер фильма "Тропики не прощают", филиппинец Али, пошутил ювелирно. Но мы не любили, когда мелодии из той оперы, звучат даже в шутку. Нам было очень жаль Али. А ему было очень жаль нас. И когда мы так пожалели друг друга, нам стало легче. А догадливый Вахит Загидуллин поймал какую-то радиостанцию, и солист оркестра под управлением Поля Мориа запел голосом нашего

любимого артиста Андрея Миронова песню под названием "На дальней станции сойду", и нас это жутко рассмешило, и все, казалось, уже было по-прежнему. И мы были прежними. А тяжесть куда-то пропала.

Вахит Загидуллин посидел еще немного, потом ушел определяться по звездам. А я за ним - люблю смотреть, как не очень-то ласковый и нежный лучший штурман отряда определяется по звездам. У него даже специальная штукавина для этого есть. Он в нее смотрит, как в подзорную трубу, а сам нажимает на курок, который тоже имеется у этой штукавины, и все устройство трещит как автомат. Когда я увидел все это в первый раз, лет пять назад, мы тогда с Вахитом Загидуллиным только познакомились, то, конечно, обладая тонким вкусом, не мог не сказать: "Вахит, ты расстреливаешь звезды".

Вахит Загидуллин, в свою очередь, мог бы тогда выгнать меня из своей кабины. Без лишних слов и объяснений - посторонним не положено, и весь сказ. Но у него только на вид грубая душа. Внутри она нежная и поэтичная. Вахид Загидуллин понимал художника, который в подобных обстоятельствах иначе выразиться не мог. И потому он попросту ответил мне: "Сука ты, а не матрос", а из кабины не выгнал. И потом мы с ним подружились. Летали вместе - весь север облетали, и я у него всегда спрашивал, чего он не возвращается на Большую землю, пора уже, это ведь только кажется, что здесь все так романтично... На самом деле жизнь на Севере совсем не малина. Трудная здесь жизнь, а какая трудная, лучше не пересказывать, лучше тому, кто интересуется, поехать самому и узнать, что почем. Оно надежней.

А Вахит Загидуллин всегда говорит мне в ответ, что, конечно, пора, да и зовут кореша, не куда-нибудь, в ЦУМВС, управление внешних связей, будет в загранку летать, но все, что-то никак не решится... Да и ведь што: у них-то здесь океан, маршрут никто не прокладывал, летят, как надо им самим, и никто не следит, и в уши не дует, что не та, дескать, высота, и куда это вы из коридора норовите выскочить, вот уже выскочили, теперь вам лучше в небе и остаться, потому что то, что ждет на земле, за этот проклятый коридор, ни пером описать, эх, да что говорить, летал он уже на Большой земле, знает, каково ни шагу без команды, все по расписанию, а здесь чувствуешь себя самостоятельным, сам принимаешь решения, ну, не всегда он сам, больше, конечно, Юрий Иванович Клепиков, зато без его вот этих определений по звездам, хрен что Юрий Иванович Клепиков решит, а ты говоришь на Большую землю.

Мы поговорили так с ним о том, о сем, и я вернулся в наш салон.

Друзья мои спали. Как ни хорош салон в самолете ИЛ-18, северном варианте, а лечь нормально здесь невозможно, места маловато. Али, ученый муж, и Иностранец сидели в стоящих рядом креслах, прижимались плечами и храпели. Каждый на свой лад. Никто из этой троицы не подозревал, что обладает, по крайней мере, одним талантом: умением художественно храпеть. Очень это профессионально у них получалось. Я сел в свободное кресло, закрыл глаза и, думаю, моя партия была не хуже.

Так мы и летели. Крепок был наш сон. Как у детей, или у взрослых, честно исполнивших свой долг. А время следующего исполнения еще не наступило. И можно пока нормально соснуть. Без забот и тревог.

Не знаю сколько это продолжалось. Но, по опыту: если без забот и тревог, значит недолго. Проснулся я как-то неожиданно. Что-то не по себе мне стало. Посмотрел в иллюминатор. И все прояснилось. Места были мне знакомые. Тяжелые, хотя и небольшие, волны гнали белых барашков. Даже сидя здесь, наверху, можно было догадаться, до чего неприятно очутиться там, внизу. Я всегда чувствовал к этому морю какое-то подобие подобострастия. Ну, скажем, как к суровому, неприступному, сдержанному и молчаливому генералу. У него обязательно квадратно-волевой подбородок, и, в основном, всё уже позади, а впереди немножко осталось: там, за рекой, в тени

деревьев, ожидает осень, и никто ему, конечно, не напишет. Не приходилось: подойти строевым шагом, печатая, четко отдать честь, громким голосом спросить - "разрешите идти" - и, получив утвердительный ответ, побыстрее уйти? Вроде и бояться нечего, вроде все по делу, всё застегнуто и т.д., а все равно не по себе. Так что лучше не подходить строевым, не печатать, честь не отдавать, вопросы не задавать, ответы не выслушивать, - от греха подальше, а?...Молчите?

Ну и ладно.

Мы подлетали к Бухте. Я крикнул Вахита Загидуллина. Штурман ответил, что трудно, конечно, будет старика уломать, но он попробует ради меня, естественно, ради нашей святой мужской дружбы, он же помнит, как я его на острове Врангеля выручил, когда двое местных ухарей, в торговле они там работают, что ли, решили посчитать ему ребра, правда, что из того вышло, просто посчитали нам обоим, но все меньше каждому досталось. Он сейчас, мигом, а Юрий Иванович Клепиков добрый старый полярный ас, он все, конечно, слышал, и крикнул из пилотской кабины, чтобы он, Вахит Загидуллин, соловей казанский, перестал разливаться, а в Бухту он ребят, то есть нас, и без его протекции завезет, но Вахит Загидуллин несколько не смутился, и сказал мне, что это ничего не меняет, все равно в Питере придется мне ему столик заказывать, хоть бы уж помолчал, знаю я это заказывание, раздухарится к концу, не остановить, а потом выйдет за кулисы, на кухню, и официант еще чего-нибудь после этого принесет, и нагло так заявит, что счет уже оплачен, и он премного благодарен гостям и клиентам, еще бы не быть благодарным, я себе представляю, сколько там Вахит Загидуллин выложил, чтобы он сам, по велению души и сердца, высказался в таком духе, вот так я ему всегда столики и заказываю, ни разу еще не позволил заплатить, потомок Чингиз-хана несчастный бродяга, ни кола, ни двора, зато - наш человек.

И откуда ни возьмись возникла в нашем небольшом салоне щемящая, "потусторонняя" мелодия, из тех, что будоражат душу, и мыслей-то никаких нет, просто хорошо и тревожно, ясно и чисто, на ней, на душе. Скажете, так не бывает: чтобы сразу и хорошо, и ясно, и тревожно. Что тут спорить... У кого-то, может, и не бывает. Даже если он слышит такую мелодию. У кого-то бывает - даже если он ее не слышит. Что же тут спорить... Спорить тут нечего.

Наш самолет заложил глубокий, как вздох облегчения у оправданного судом истории, вираж, и мы пошли на посадку в Бухту.

Все мои знакомые - хорошие знакомые - считают, что когда я слышу что-нибудь о Бухте, то вспоминаю суровые армейские будни. Это, конечно, так. На то они и суровые армейские будни, чтобы их вспоминать. Я о них еще расскажу немного - позднее. Но, по правде говоря, гораздо чаще вспоминаю не суровые армейские будни - сразу все, скопом, или в отдельности - а первый день, даже первый час, который я провел в Бухте.

\* \* \*

... Сержант морочил нам голову от самого Чомбея. Едем, говорил, в район Сухуми, там будет проходить ваша суровая армейская служба, готовьтесь внутренне, места не простые, жара донимает, да и вообще, после Чомбейской зимы, с ее пятидесятиградусными морозами, где бы вы себя нормально чувствовали? Нам нечего было ему ответить, и мы смело шли навстречу судьбе. Сухуми так Сухуми.

- Где наша не пропадала, - кричали милые краснорожие мальчуганы, от которых нормальные пассажиры старались держаться подальше.

Сомнения закрались в Хабаровске. Где это вы видели такой путь, чтобы из Восточной Сибири лететь в Абхазию через Хабаровск? Сержант хлопнул стакан водки и подло засмеялся. Оказалось, что летим мы сейчас прямым ходом в Бухту, где и предстоит нам провести два ближайших года. А у него они



уже позади, привезет нас, сдаст по команде, по списку, по реестру, и домой, в родной Краснодар, это вот уже как раз недалеко от Сухуми.

Так мы оказались сначала в Анадыре, а потом и в Бухте. Старенький ИЛ-14 прокатился по полосе, крытой железными плитами с дырками, для лучшего сцепления, и остановился около небольшого здания аэропорта. Сержант побежал своим ходом в часть, чтобы доложить о приезде сорока архаровцев, а заодно и прислать за нами вездеходы, мы же остались без присмотра. Вся лихость, бравада, и смелость, с которыми шли навстречу судьбе, мигом пропали. Бухта надавила на нас своим видом - очень неприятным и даже мрачноватым. Мы забились в зданье и там я увидел эту женщину.

Она, судя по всему, скучала. То есть, на лице это не было написано, оно у нее было спокойным, но уж слишком спокойным. Потому я и подумал, что скучает.

Ну как описать ее?! Все равно ведь не получится, так может и не пытаться?

А девушка была что надо. Хотя и в возрасте, но таких красивых женщин, не грех, по-моему, называть девушками, очень долго.

Коса, (что само по себе диковинно, а потому хорошо) собрана-сплавлена на затылке в продолговатый, массивный гладкий брусок-слиток, размером, весом и цветом напоминающий мировой золотой стандарт. И, - что немаловажно - всё натурально. Сплошная ностальгия, а не прическа... И эта прическа необыкновенно шла к ее, чуть широкому, совсем немного, приятному лицу. Совершенно русскому. Как будто здесь не Бухта, а Торжок. И глаза красивые. Ну и они тоже очень спокойные. И вообще все было очень, очень, очень...

А вообще-то скучала. Чем-то ей досадила нынешняя жизнь,.

Но ведь не больше же, чем мне...

Думать о том, что впереди, очень не хотелось. А женщина эта и в лучшие времена привлекла бы внимание, ну а тогда, в этом унылом зданье Бухтинского аэропорта... Не подойти я не мог. И настроение, и вид мой никак не соответствовали торжественному моменту. Но меня взяло такое злое отчаяние: боже ж ты мой, ну отошьет, а с меня как с гуся вода, даже хуже на душе не станет, хуже-то ведь уже некуда, ну и пойду я через час, другой, выполнять суровые обязанности солдата, а потом, это последний шанс в последний раз...

Что означает "последний шанс в последний раз", я и сам толком не знал. Но когда этот довод появился в моей бритой башке, я поднялся, подошел к ней и, щелкнув каблуками разваливающихся ботинок, сказал: "Мадам желает виски с содовой или джин с тоником?"

Она не удивилась. Ничему не удивилась: ни виду, ни предложению, ни даже тому, что щелканье каблуками у меня не получилось. Не было тогда еще навыка, потом научился. Она просто сказала: "А почему это вы предлагаете мне виски, хоть и с содовой? Вы бы еще про портвейн вспомнили".

- Пардон, мадам. Да ведь все равно ничего здесь нет: ни виски, ни джина, ни того же портвейна... Кстати, если настоящий, то не повредил бы. Ольдпорт, помните, у Герцена, в "Былом и думах"...

- У Герцена? У Герцена помню. Как же, как же. У Герцена, - посмотрела она на меня и засмеялась.

- А что? Порядочные и знающие толк люди даже с утра употребляют. Некоторых я знаю лично, - продолжал трепаться я.

- Да уж, здесь не Лондон. Судя по манерам и выговору, вы оттуда?

- Вы не только красивы, но и проницательны. Я уже начинаю бояться вас. А посему разрешите откланяться...

Я понял, что сейчас случится то, что и должно было случиться. Хорошо еще сразу не поставила на место, не обдала, как говорится, презрением, удостоила диалога.

И я церемонно откланялся.

Но не глядеть на нее я не мог. И она тоже постреливала в мою сторону. Весело и хорошо. А потом подмигнула и кивнула в сторону небольшого буфета в соседнем зале. "Ну уж дудки,-подумал я, - с меня хватит". Я запахнул свое широкое пальто с оборванным воротником и уселся поудобнее. А она встала и пошла в буфет. Ну и все. Окончен бал. Тебе туда, а мне на службу. Охранять северо-восточные рубежи нашей родины. И прекрасно...

- Ну что, Чайльд Гарольд, предложение отменяется?

Здорово же меня разобрало, если я даже не заметил, как она подошла. Но, я вам честно скажу, такой красивой гражданки я не встречал. Ни до, ни после, И голос у нее был какой-то особенный, низковатый, но все же мягкий и приятный. И фигура, несмотря на то, что возраст уже наверняка подкатывал к сорока, великолепная, бедрам было тесно в юбке из серой фланели. Вот такая очаровательная тетенька, просто спасу нет. И все это вместе, единым потоком хлынуло на меня, и я уже проклинал себя за то, что подошел к ней, и так тошно, а тут еще отцветающая красotka в кожаном пиджаке, видал я таких, какого черта, спрашивается, ей от меня надо, никогда женщин никуда не посылал, но сейчас, кажется...

- погоди бунтовать. Я ведь не обиделась на тебя, когда ты предложил мне виски. Ну и ты не обижайся. Пойдем, я попросила официантку, она моя знакомая, выпьем шампанского. Галка может подать бутылку в ведерке со льдом, если ты так привык...

Ну, я уже не выпендривался. Просто пошел за ней и все. Мужики, будущие мои однополчане, в рваных телогрейках, старых сапогах, в кепках на бритых головах, рванули туш. Со свистом и гиканьем. Но нам уже все было нипочем.

Мы сели за столик, я открыл бутылку, без хлопка и ажиотажа, грустно разлил шампанское по бокалам, и мы молча чокнулись.

- Совсем худо?

- Было не совсем. А вот с тобой... с вами... совсем.

- Я тебе нравлюсь?

- Вопрос излишен. - Пытался еще церемониться. - Конечно.

- Представь себе, и ты мне тоже нравишься. Очень. Вот что я тебе скажу. Если бы мы познакомились не здесь, и не сейчас, я бы в тебя обязательно влюбилась. А впрочем, что значит не здесь и не сейчас. Какая разница, где и когда, и что будет дальше. Я и сейчас в тебя влюбилась. Я представляю тебя в костюме от Диора, и ты такой же, как сейчас. Это не имеет никакого значения, то, что сейчас происходит вокруг. Ты тот же. Просто ты здесь. Подумай: разве я не права? Разве что-нибудь кончилось? Все только начинается, мой милый. Мой хороший. Мой дорогой. Подумай об этом, пожалуйста. И налей мне еще шампанского, и скажи мне что-нибудь изысканное...

- Я не могу. Я понимаю, и скажу когда-нибудь. Прости, сейчас не могу. Ты уезжаешь?

- Да, я уезжаю. Слава богу, я свое отслужила. Но мы встретимся. Обязательно встретимся. Ты вернешься, станешь еще умнее, еще мужественнее, еще красивее, и мы встретимся. Может это буду не я. Но мы встретимся. Ты понимаешь, мой хороший?

Самое интересное, что если бы на мне сейчас был костюм от Диора, и был бы я не новобранцем, а кем-нибудь еще, то вряд ли бы она стала разговаривать со мной. И я бы не подошел...

Мы допили шампанское, она поцеловала меня на глазах у изумленной публики, и я пошел к своим.

Тут как раз и сержант подъехал. Он видел как мы прощались. На меня он не обратил внимания. Подошел к столику и сказал:

- Здравствуйте, Рита.

- А, Гришанька... Здравствуй дорогой. И прощай.

- Покидаете нас... А как же майор Пугачев?

- Что ты дурачка строишь... Будто неясно, что после развода я уже не совсем Пугачева, ну и, стало быть, делать мне в Бухте нечего.

Гришанька хитро и противно сощурился и спросил:

- Скучать будете?...

- Да как сказать... По таким балбесам, как ты, вряд ли. Их везде хватает. Как, впрочем, и всех остальных.

- Ну, ну... Сама во всем виновата.

- Иди, Гришанька, иди. Я от тебя быстро устаю. И объяснить, даже если б захотела, ничего не смогу. Не поймешь. Но это ничего. И такие, как ты, тоже на свете нужны. И как майор Пугачев. И как я.

- Ну, ну... Хочешь напоследок скажу, кто ты?

Тут случилось что-то непонятное. Она смотрела на Гришаньку. Он стоял несколько мгновений неподвижно, потом начал топтаться, потом подпрыгивать, и довольно высоко, но на одном месте, и орать слова, произносить которые сержантскому составу в армии запрещено. От подошв его щегольских сапог шел натуральный дым. Гришаньке было очень горячо. Он и орал про это: "Прости, Рита, погорячился!" И так около минуты. Кто обжигался, знает - это долго.

- Та шо же ты, чувырла, с моим Гришанькой творишь, шо же ты с им, шалава разноцветная, делаешь, а? - Завопила в голос вдруг буфетчица Галка, забыв, видимо, о теплой дружбе. Но глаза выдирать Рите, как сделала бы на ее месте любая нормальная женщина, Галка не торопилась.

Гришанька встал, как ни в чем не бывало повернулся, подошел к нам и хорошим командным голосом закричал: "В колонну по три становись!"

\* \* \*

Бухта редко встречает гостей хорошей погодой. Вот и сейчас наш ИЛ-18, северный вариант, боролся с боковым ветром. Но на то он и северный вариант, а Юрий Иванович Клепиков на то и арктический ас, чтобы побеждать ветер. В том числе и боковой. Мы его победили и сели все на ту же железную полосу с дырками.

Мы молча смотрели в иллюминаторы. Потом научное Светило оторвалось от окна и спросило у Иностранца: "А что это за мелодия сейчас была? Что это было? Оркестр под управлением Поля Мориа?"

- Сам ты оркестр под управлением. Правда, неизвестно кого. Я не знаю, что это за мелодия. Но я могу с тобой поспорить, что это не оркестр под управлением Поля Мориа.

- Это "Генезис", - немного презрительно глядя на приятелей, просветил Вахит Загидуллин, - стиль фьюжн, ансамбль "Пороховницы".

- О, так это Леха, - обрадовалось Светило, - че же ты сразу не сказал. А я думаю, че это сакс так душу томит...

- Леху не трожь, - твердо попытался поставить точку Вахит Загидуллин, - этого ты мне не трожь. Кого угодно трожь, а этого не смей. Я за него...

Тут Вахит Загидуллин, грубый с виду, но нежный и впечатлительный внутри, такое пообещал, что лучше не пересказывать. Плохо спать будете.

- Та вы шо, хлопцы, сказались? - Вновь продемонстрировал свои лингвистические фокусы Али. - Нашли о чем балакать. Будьмо другие песни спивать...

Он подошел к приемнику, и настроился на волну "Маяка". Лихой мужской голос пел о том, что в кубрике ему нужна гитара.

- О це дило, - удовлетворенно посмотрел на нас Али, - а то шо це такэ - "Генезис"?..

Способность приобщаться к массовой культуре у него была, что и говорить, поразительная. Даже если эта культура другой национальности.

- Пора ему в Город, - прошептал мне Иностранец, - и скорее на родной архипелаг. А то неизвестно, чем все это может кончиться.

Честно говоря, я тоже не знаю, что это была за мелодия. Парни так и не заметили, что когда она звучала, приемник был выключен. А я ничего говорить не стал.

Мы постояли немного у трапа славного самолета ИЛ-18 (северный вариант). Потом начали прощаться. Грусть и печаль делили теперь нашу компанию на два лагеря. Первый - я и Иностранец - оставался в Бухте. Второй летел дальше.

- Вот приеду в Питер... - в который уже раз мечтательно затянул Арктический ученый.

- Давай прощаться. А то если я тебя еще немного послушаю, то не выдержу и огорчу, - вежливо прервал его Иностранец.

- Эх, Иностранец. Хороший ты парень, а не орел. Ну чем ты меня, скажи на милость, сейчас сможешь огорчить?!

- Не вынуждай, Светило. Ведь заплачешь, локти закусаешь.

Ну, кто бы из нас, скажите на милость, после такого многообещающего заявления остался спокоен? Да никто. Тут еще надо учесть, что хотя Ученый пробыл на своей льдине, в абсолютно надежном, но таком же и твердом как кремь, булат, сталь, мужском коллективе, не весь срок, не весь год, от осени до осени, а только его часть, правда, большую, все же нервишки у него были уже почти никуда.

- Че такое? Выкладывай, гад, а то не посмотрю, что ты меня от смерти спас...

- Спас-то не я, а он, - Иностранец кивнул на Али.

- Ну и чо. Сколько я его благодарить должен? Ноги мыть и юшку пить? Чо мне теперь делать-то?

- То-то и оно, что делать. Весь фокус в том, что Али сделал тебе операцию, не оставив шва. А в вашем институте ждут не дождутся тяжело больного Ученого, героя Арктики, которого мужественные летчики - асы, рискуя жизнью, и, между прочим, самолетом, должны привезти на Большую землю. Так вот, я и спрашиваю, что ты ответишь коллегам? Расскажешь про Али? Ну что ж... Даже если предположить нечто фантастическое, то все равно они резонно потребуют подтверждений. Люди тут не в счет, словам веры нет, тем более нам, журналистам. Они потребует, чтобы ты им показал свой живот. А на нем у тебя нет шва. Даже малюсенького, даже короткометражного шовчика. И выходит... симуляция?.. Выходит, не выдержал испытания Арктикой, не смог поладить с коллективом, не подружился на всю жизнь с белым безмолвием!

- Да че, гад, городишь! А? Да я же тебя за свою льдину, за наш спаянный коллектив...

Светило говорило и подбиралось мелкими шажками к добродушно улыбающемуся Иностранцу. Пришлось встать на его пути.

- Брэк, Кандидат. Покажи свой пуп, покажи шов, докажи, что Иностранец зарвался, тогда и требуй сатисфакции. А сейчас... Он ведь дело говорит. После первой медкомиссии возникнет, мягко говоря, недоумение. Как же ты его собираешься рассеивать?

- Пусть он мне справку даст, - Ученый вперил возбужденный взгляд в хирурга-любителя.

- И вместо печати приложит перстень-монограмму. Обычно на любую медкомиссию безотказно действует печать с инициалами любого филиппинского продюсера.

- Ребятки, а че же теперь, а? - Как-то быстро сошел с тропы войны Ученый. Мы, конечно, с уважением подумали, что только будущее Светило может так четко соображать, оценивать мгновенно, как компьютер, "прокручивать" ситуацию в своем изощренном мозгу.

- Ведь с меня три шкуры сдерут и на льдину больше не пустят. Да лучше б я концы отдал...

- Вот с этого и надо было начинать, а не кулаками размахивать, - покровительственно оказал Иностранец, - что же думает по этому поводу месье Али?

Месье Али немного помолчал, а потом сказал:

- Мин жой фала алам. Телесе нинди. Ланкин монын очен Волгоград сего ренде иртенге сягать. Алты белен жиде арансында туган ясь дунгых каны кирек. Эннэ ир затыныкы.

- Ага, наш уважаемый гость начал разговаривать на родном языке. Понимаю. Это вполне естественно. Тоска по родине, по землякам-филиппинцам.

- Как бы не так, - перебил напыщенную тираду Иностранца Вахит Загидуллин, - он говорит на татарском языке. Причем хорошо и литературно.

Если Али думал нас удивить, то он напрасно старался. Мы выслушали Вахита Загидуллина совершенно спокойно.

- И что вещает Али на этом славном языке? - не унимался Иностранец,

- Он говорит, что можно сделать шов. Причем любых размеров. Но для этого ему нужна кровь молодого поросенка, родившегося между шестью и семью часами утра в городе Волгограде. И желательно мужского пола.

Я первый заметил, что со Светилой опять происходит что-то неладное. Похоже, в его груди вновь появился тревожный ритм там-тамов. Теперь предметом раздражений и неудовольствий стал Али. Глаза Ученого сделались круглыми и бешеными. Да и то: события, происшедшие с ним за последние несколько часов, вконец расшатали нервную систему Арктического волка. Он решил, что Али издевается над ним.

- Ну, инородец, - выдохнул Светило, - креста на тебе нет...

И бросился на филиппинца.

- Кажется, он все-таки верит - задумчиво и глубокомысленно произнес Иностранец.

- Да нет... В данный момент как раз не верит.

- В тапера не стрелять - каждый играет так, как умеет, - Али отчаянно выкрикнул по-русски клич, знакомый ему, человеку светскому, с раннего детства, и большими прыжками поскакал по железной ВПП.

- Счас взлетит, - восторженно сказал Вахит Загитуллин. Мы с Иностранцем переглянулись и поймали себя на мысли, что начини он и впрямь набирать высоту, все равно приняли бы это как должное. От этого продюсера с чуждого нам архипелага можно было ожидать чего угодно.

Но Али не полетел. Ему помешал лейтенант Элли. Застегнутый, как обычно, на все пуговицы, с чистым подворотничком, в начищенных, хорошо отутюженных хромовых сапогах, он почти строевым шагом приближался к Светиле и Али, и строго рычал: "Вы что, граждане, с катушек слетели? А если сейчас кто-нибудь на посадку заходить будет? Вам жизнь недорога?"

- На кой она, жизнь, - устало махнул рукой Светило.

- Я иностранный подданный, - попытался взять верх над Элли Али.

Но Элли парень крепкий. Для того, чтобы его с панталыку сбить, надо небольшой атомный взрыв устроить. Да и в этом случае я ни за что не ручаюсь...

- Это твои, Рогов? - Спросил он меня.

- Мои.

- А чего же они нарушают? Ты-то ведь не мальчик, знаешь, что почем в Бухте...

- Ладно, прости, старик, нас. Ты вот что, Элли... Выручи этого бродягу. Понимаешь, позарез нужна справка. Будто бы ему, Ученому с СП, сделана операция аппендицита в Бухтинском госпитале.

- А где на самом деле была сделана операция? - Спросил бдительный Элли.

- А вот в этой колымаге, - показал я на славный ИЛ-18 - северный вариант.

- Ну, ну... Ты сам видел?

- Видел.

- И шов есть?

- Шов скоро будет.

- Так, так, - с этим подозрительным восклицанием Элли вытащил из планшетки бланк с печатью Бухтинского госпиталя (я в нём как-то отдыхал с воспалением лёгких) потом очень фамильярно положил планшетку мне на спину, (впрочем, ему можно), сделал соответствующую запись, и вполне торжественно вручил справку Ученому.

- И постарайтесь, дорогой товарищ, в следующий раз не ложиться на операционный стол где попало. Ну что, в самом деле, солидный же человек, доктор наук, поди, а ведете себя как мальчишка. Операция была, а шва нет... Ведь это курам на смех.

- Если бы только курам, - горестно прошептало вконец загнанное Светило.

- Пора, мужики. Пока погода есть, - неумолимо оказал Юрий Иванович Слепиков.

- Да, ведь надо еще достать молодого поросенка, рожденного на рассвете в городе Волгограде, - Али смотрел на нас озабоченно.

- Так ты не шутил? - Нервно двинул плечами Ученый.

- Я уже давно заметил - когда я шучу, все воспринимают это серьезно, а когда я что-нибудь говорю серьезно, все думают, что я шучу.

- Спасибо тебе, брат.

- Чего там... Тебе, кстати, тоже спасибо.

- А мне -то за что?

- Да так... За то, что ты есть. За то, что мы встретились. За эти часы. И всем вам, господа, большое спасибо... За что?

- Ох, ты, - толкнул меня Элли, - и впрямь иностранец...

- Подожди, Элли.

- За что, за что... Славные вы, ребята... Ну, вы, наверное, и сами об этом догадываетесь. Нет, ребятки, дело не в вас. Дело во мне. Я ведь многое в жизни видел. Много такого, чего вам не желаю увидеть. Много и умею. Даже, пожалуй, кое-что лишнее. Мне ведь сорок уже. И уже много лет подряд, я через день, э, да что там, через день, каждый день, делаю то, что ежедневно делает большинство из 4 миллиардов 042 миллионов людей-землян: принимаю черное за белое. Иногда наоборот. Но сегодня я пошел на вы. Сегодня я оборвал несколько ниточек, так мне осточертевших. И в этом виноваты вы. Дай вам Бог, мужики. Наш или ваш, безразлично. Надо б нам почаще встречаться, а?

Ну что вы так смотрите? Ну да, да, есть еще на этом свете вещи почище клятвы, данной в храме на ноже. Почище дисквалификации. Что, думаете, я этого раньше не понимал? Как бы ни так. Я это и раньше понимал, теперь понимаю и дальше буду понимать. Штука-то в том, что можно все понимать, а жить так, будто ничего не понимаешь. И лишь железная, - тут его голос стал густым и торжественным, как у попа в церкви, поющего: "Господу помолимся", - воля Иностранца, и его безукоризненная логика, могут что-то еще сделать.

И это я тоже понимаю.

- Во дает! - Влез в "последнее слово" Вахит Загидуллин.

- Понятливый, - констатировал Элли.

- Цыц, - приказал Юрий Иванович Клепиков.

Мне нелегко прощаться. Впрочем, что значит нелегко... Я раскален болью, как зуб с обнаженным нервом...

Нам всем не хотелось расставаться. Я уже говорил, что и грусть, и печаль, владели нами безраздельно. А после его слов про зуб совсем хреново стало. По настоящему: в натуральном, прямом, физическом и материальном смысле.

- Бросай свои штучки, Али, - беспокоились Вахит Загидуллин и Юрий Иванович Клепиков, - нам еще аппарат до Питера вести. Опять же тебя в Город забросить надо, по пути в Волгограде поросенка достать... А тут мотор хватает.

- Да, да, вы правы, простите меня, - отрешенно сказал Али. Боль отпустила.

У трапа он повернулся и крикнул: "И пусть это самое горькое горе никогда с вами не встретится"

- Вот за это спасибо, синьор, - как-то слишком одобрительно произнес Элли.

- Слушай, Элли, - начал было я, но почувствовал легкий толчок Иностранца, и замолчал.

В самом деле, объяснять что-либо - долго, а ссориться с Элли я не умею.

Они сели в ИЛ-18, северный вариант, а в сущности, самый обыкновенный самолет, разбежались по железной ВПП, и улетели. Мы еще постояли, посмотрели им вслед, а потом пошли в поселок.

## ГЛАВА 2. РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ.

Бухта, Бухта, Бухта... Конечно, сейчас я отношусь к ней более или менее спокойно. А ведь в иные времена отношение с Бухтой были совсем непростые. Я ее то, мягко говоря, не любил. Впрочем, чего там, ненавидел. То прощал ей все выходки, и, с подступающим к горлу комом, думал о будущем расставании. В общем, это тот самый случай, когда от любви до ненависти не шаг - полшага.

И ведь было за что любить и ненавидеть.

Когда не спится, когда подушка жестче булыжника, и под одеялом чертовски жарко, а сбросишь его - холодно, и когда сон, как писал Бунин, милее отца - матери, я непременно вспоминаю эти места. Вспоминаю дорогу, по которой сейчас идем, вспоминаю тундру безлесую и пустынную, вспоминаю саму Бухту, окруженную сопками, защитившими и навсегда скрывшими ее от студеного моря.

... Нас высадили из ГТС - гусенично-транспортной самоходки прямо у спортзала. Потом пришел капитан Воронин, и сказал, что для нас это не спортзал, а войсковой приемник, и что вообще, не к теще на блины приехали, а в Бухту, и не любоваться закатами, а защищать северо-восточные рубежи нашей родины, и дело это далеко не простое, требует, кроме умения, воли и мужества, и именно их мы начнем закалять с завтрашнего утра, и оказалось, что капитан действительно придает колоссальное значение закалке, во всяком случае, умывальники нам поставили только через десять дней, а до этого, каждое утро мы разбивали лед в здоровенной луже и весело плескалась, вот только зубы почти невозможно было чистить, их ломило от воды, но вы ошибаетесь, если думаете, что я жалуюсь, наоборот, я с удовольствием вспоминаю эти процедуры, после них мы бежали мимо казарм, в которых жили "старички", к Бухте, с полной выкладкой, а над нами парами взрывывали "МИГи", уходящие патрулировать границу. Делали они это великолепно, четко, красиво, а если одним словом, то синхронно (нынче это слово нередко подразумевает и красоту). Представьте себе два истребителя, взлетающих над голыми, мрачными, огромными сопками, и над стылой Бухтой, занимающей в кольце сопки многие километры, и вот эти два аппарата почти вертикально набирают



высоту над ней, а потом одновременно "сваливают" влево, причем угол поворота одинаков, ни на йоту, ни на градус у них не расходится, словом, эти "МИГи", так же как и мы, несли службу по защите северо-восточных рубежей нашей Родины. И поначалу все это было очень даже интересно, а потом мы хлебнули. Хлебнули, хлебнули... Но сдюжили и не захлебнулись.

С первого дня я подружился с Элли, тогда таким же салагой. Вышло это случайно, просто наши койки в войсковом приемнике-спортзале стояли рядом.

Сейчас он шел и с удовольствием рассказывал Иностранцу: "Вон там, за поселком, горочка, Колдун называется. Чуть правее плато, где мы с Роговым службу несли. А позади этого плато ущелье Трех ведьм. В пургу оттуда доносятся разнообразные мелодии, которые лучше не слушать в одиночестве..."

- Да, милое местечко, - Иностранец внимательно посмотрел на меня, - так значит сюда мы тебя, так весело тогда провожали...

Пожалуй, весело в данном случае не совсем подходящее слово. Не передает всех оттенков. По гамбургскому счету провожали. И было даже кое-что сверх счета.

Уж что-что, а встречать и провожать в Чомбее умеют... Этого у нас не отнимешь.

Иностранец в тот день впервые в жизни по-настоящему надрался. Разумеется, мы и до этого уже умели "принимать", но как-то ему не очень шло спиртное, и он без всяких усилий в любой компании мог обойтись минимальной дозой (да и сейчас тоже). А тут повело парня. Но ведь и расставались мы с ним после уже многих лет дружбы, хоть и детской, но дружбы - впервые. И расставались ни на день, ни на два - на два года. Как-то получилось так, что подружек у нас в то время не оказалось, и никаких отвлекающих моментов, которые могли развести в разные стороны хоть на час, не было. Все эти сутки мы были вместе...

Он шел за Славкой Степановым, известным в Чомбее жуликом и добродушным хулиганом, которого, несмотря на все его бурные наклонности, чомбейцы любили и жалели, жалели нескладную жизнь, за туберкулез, которым наградили по наследству Славку непутевые родители, он шел за ним, спотыкаясь и поправляя на носу очки, которые не позволили ему очутиться в славных рядах защитников Родины, и не в такт подпевал Славке: «И ушла, а с ней ушли - тридцать метров крепдешина, фирмы "Мозера" часы, без стрелок», а окружающие, то есть слушатели, которые стояли и смотрели на нас, шествующих по Центральной чомбейской улице, кричали: "Эй, Иностранец, кончай подвывать, песню портишь", а Славка на секунду прерываясь, говорил: "Нам бы с тобой, Иностранец, здесь месяца хотя бы три провести, я бы тебя научил петь", а Иван Гаврилович, наш знаменитый милицейский старшина, тоже стоял на тротуаре, среди других чомбейцев, он слушал Славку, утирал слезу и говорил: "Ничего, нехай попоет, скоро ему опять в отсидку, года на четыре Славка теперь тянет", но чомбейцы словам Ивана Гавриловича не удивлялись, они уже давно привыкли к Славкиным отлучкам из города, их скорее сейчас больше интересовал Иностранец, они его таким никогда не видели, и наша первая учительница, Валентина Ивановна, тоже утирала украдкой слезы, но было непонятно, что это у нее за слезы, то ли радости, то ли горести, она смотрела на меня, на Иностранца, на всех остальных чомбейцев призывного возраста и вздрагивала от голоса Юрки Ронженина, который, так же как и Славка, под аккомпанемент гитары, затягивал песню за песней, в основном из репертуара негритянской певицы Дайаны Росс, он пел сначала "Всю ночь, любимый", потом "Ты получил это", а Валентина Ивановна вздрогнула от первых слов песни "Я смеюсь над этой любовью", и хотя ничего не понимала умом, так как Юрка Ронженин по своему обыкновению не отступал от оригинала и пел на английском языке, но сердцем учительница чувствовала, что здесь что-то неладно, и она очень тихо шептала: "Нет, этого мы себе позволить не можем", и вновь утирала набежавшую слезу, и тут - ненеожиданно и не вдруг - затеплился в ее остывшей уж давно душе небольшой огонек, и память, что поделаешь, память есть память,

сработала ассоциативно, она сравнила нашу колонну с той, что провожала Валентина Ивановна по этой же дороге уже больше сорока лет назад, и шел в ней ее ненаглядный Сашенька, которого она с тех пор никогда не видела, и - вот ведь штука - не было больше никогда у Валентины Ивановны ненаглядного, и в душе ее уже не теплился, а горел преобладающий костер, похожий на тот, что жгли мы вместе с ней в пионерлагере, и она, убежденная атеистка, материалистка и пропагандистка, прошептала то, что шепчут все русские женщины, видя такие колонны: "Храни вас бог, ребята". А мы, будущие воины и провожающие нас лица, гордо шествовали дальше, напрямик к Чомбейскому военкомату. Внутри у нас было и горько, и пусто, и это было необычно... Мы еще не научились расставаться. А большинство из нас еще плохо представляло себе, что это там за мир, до которого от Чомбея ровно пять часов лету на ИЛ-14. Именно столько надо времени, чтобы добраться до Иркутска. Но Ваське Семёнову, здоровому буйволу с прииска Маракан, хватило и двух часов, чтобы затерроризировать бедную стюардессу, которой он предлагал выпить стакан водки на брудершафт и закусить это дело огурцом (Васька, к счастью, не знал, что при этом ещё и целуются), да и большую часть призывников, летящих с ним в одном аппарате... В Ваське уже тогда можно было разглядеть ротного старшину.

Да, всё же Иностранец по-своему прав: весело было там... Я вспомнил это по дороге в Бухту.

\* \* \*

А Элли с Иностранцем, похоже, было уже о чём поговорить. Первый искал и быстро находил точки для съёмки, второй снимал. Делали они это очень профессионально. Немудрено: Элли знал Бухту и окрестности, как свои пять пальцев, Иностранец, худо-бедно, был не из последних фотомастеров. Да и погода разошлась. Солнечные лучи просвечивали Бухту, как рентгеновские лучи человека, насквозь.

Так мы дошли до нашей воинской части, обогнули штаб и - о Бог ты мой, она еще стоит, - родную гауптвахту, за которыми скрывался подземный КП, пропылили еще полтора километра, и, наконец, пришли к дому, где жил Элли.

- Располагайтесь, мужики, - хозяин впустил нас в свою уютную квартирку, которая сразу же показалась мне знакомой.

Я почувствовал дурацкий зуд в голове, который наверняка теперь не даст покоя, пока не вспомню, где я уже видел такую же суровую однокомнатную келью. Жилище солдата.

- Вы, значитца, поласкайте тут холодильник, подремлите, а я на КП сметаюсь, делов куча. До вечера, а вечером торжественный ужин в "Огнях Колымы", а как же, все как полагается, по высшему разряду, встреча однополчан, скупые слезы и воспоминания ветеранов...

- Это что еще за "Огни Колымы"? - подозрительно спросил Иностранец!

- Наш ресторанчик. А что?

- Да название какое-то непривычное...

- Уверяю вас, очень приличное место. Собственно, Рогов-то знает. Чего молчишь, просвети друга...

- А чего его просвещать, - сказал я, устраиваясь на диване, - сам все увидит. - А ты, значит, на КП теперь служишь. Откуда ушел, туда и пришел...

- Не ушел, а ушли. И помолчал бы ты...

- Молчу, молчу...

Иностранец послушал непонятный ему разговор, посмотрел на нас, а потом сказал, что отдыхать не будет, пойдет бродить по Бухте.

И они отбыли восвояси.

Я лежал, а Ее величество Память начала свои интриги.

\* \* \*

Точно в такой же комнатухе я и Элли жили - не тужили на позиции "Останец". А в соседней стояла радиоретрансляционная станция "Ручеек", за работу которой мы отвечали головой. Прежде чем попасть на этот самый "Останец", нам удалось послужить в довольно элитарном месте. В полуподземном бетонном бункере, на КП полка, полностью заваленном снегом. Распределили нас туда сразу после спортзала - войскового приемника.

Судьбе было угодно, что и там мы оказались связанными одной веревочкой. И не в переносном, а в прямом смысле. Правда, если уж быть точным, то это была не веревочка, а телефонный кабель, протянутый по всему КП. На одном его конце, с наушниками и микрофонной гарнитурой сидел я, - на другом Элли. Как только кто-то где-то взлетал, я начинал скороговоркой сыпать цифрами, одновременно записывая их в специальный журнал, а Элли слушая мой голос, громко и внятно повторял. Наши старания воплощались в разноцветные "змейки", начерченные на плексиглазе-планшете. "Змейки" показывали, кто и куда сейчас летит - по обе стороны границы. Так мы "водили" самолеты.

Иногда связь между нами прерывалась и Димка Власов, с кросса, сломя голову мчался по ходу кабеля, высматривая повреждения. Не буду лукавить и говорить, что бес попутал. Не бес, беспечность.

Мы заступили на смену, и я сразу "закемарил", не проверив, на месте ли мое грозное оружие - карандаш. Ночью пришлось работать в казарме, а впереди двенадцатичасовое дежурство. Мою бритую голову сжимала дужка наушников. Снять их с этого момента уже не имел права, а значит, и выйти из комнаты.

Заворчал динамик. Оперативный дежурный капитан с шикарной фамилией Драло, сказал по громкой связи: "Внимание..." Я поглядел на часы. Через несколько секунд в зону слежения нашего КП войдет американский "Боинг". Мы прекрасно знали этот рейс. В пятницу самолет принимал на борт некоторую часть - самую, пожалуй, демократичную и веселую - аляскинских девчушек и вез их на военную базу. Он взлетал в городке Ном, летел над побережьем, потом над Беринговым проливом, и садился на острове Гамбелл. Там девушек встречали уставшие от суровой арктической службы янки-милитари. Под расслабляющий джаз двадцатых годов - а, судя по передачам, на базе слушали только такую музыку, - девушки, как могли, скрашивали мужское одиночество. В понедельник рано утром "Боинг" возвращал их обратно.

- Мужики, внимание, б... везут, - несколько раз повторил свою любимую шутку капитан Драло. Комментировать ее, как и вообще все происходящее, мы уже устали. А потому смена невозмутимо приготовилась "вести" "Боинг" с чужими девицами.

Вот тут-то я и обнаружил, что потерялся мой спецкарандаш. То есть, я был уверен, что он где-то здесь, но... Но его не было. В таких случаях говорят: "Игрец шутит. Пошутит, и на место положит".

Но мне было, честно, не до шуток. Запомнить летящие в мои уши с космической скоростью цифры я, конечно, был не в силах. С другой стороны нужно было обязательно записать. Но пока я только слушал и лихорадочно искал карандаш. Элли, встревоженный моим молчанием, спросил: "Эй, Рогов, почему молчишь? Отвечай, Рогов, Рогов, почему молчишь? Отвечай, Рогов, Рогов, Рогов, Рогов..."

Мне бы промолчать, а я в полной панике уже не соображая, что говорю, ляпнул: "Связи нет".

- Не понял, - откликнулся Элли. - Ты меня плохо слышишь?
- Я тебя совсем не слышу.
- Как совсем? Абсолютно не слышишь?
- Абсолютней некуда. Ни слова твоего не слышу.
- Так... Значит, ты меня не слышишь. Значит, нет связи. Докладывать?
- А что делать? Докладывай.

И он, сдуру, доложил. Странновато прозвучало это донесение Элли. Примерно где-то так: "Рогов просил доложить, что связи нет".

- А ты что, разговаривал с ним? - Машинально спросил оперативный.
- Разговаривал.
- Так он сам тебе это сказал?
- Сам. Надо бы кабель проверить...
- Идиоты, - прошипел Драло и выхватил из рук Элли гарнитуру.

Но в этот момент счастье улыбнулось мне. Относительно, конечно. Я, как вы понимаете, нашел спецкарандаш и немедленно приступил к исполнению непосредственных обязанностей, но для нас с Элли это уже не имело какого-либо значения. Сразу после смены, сдав ремни, мы отправились на губу.

Отсидев положенные десять суток, погрузив, предварительно раздолбив, тонны мерзлого угля, почистив парочку помоек, зацементировав полы в коровнике, ну, и так далее, мы получили предписание отправляться на "Останец". К "Ручейку". Как понимаю, это было уже не столько наказание, сколько желание отправить нас куда-нибудь с глаз долой.

Что самое удивительное - Элли даже словом со мной не обмолвился об инциденте. Он и так-то по природе молчун, а здесь вообще заткнулся. Долбит себе уголек и молчит. Ну и я... Хотя мне, конечно, было не по себе. Совесть мучила. Не сказать, чтоб сильно и долго, но мучила. И когда я сказал об этом Элли, то он только усмехнулся в ответ. И вот тут мне по настоящему стало не по себе. И до сих пор - поверьте! - я испытываю это чувство, вспоминая наше "восхождение на "Останец".

А ведь сначала он нам показалась раем. Не жизнь, а сплошной отдых: "Ручеек" очень нетребователен, нужно только не забывать подстраивать его и... и все. Остальное время можно посвятить себе.

Что мы и делали. Жил с наш еще один боец, Иван Датский. Небольшого росточка, он знал этот "Ручеек" и сам "Останец" вдоль и поперек. Мы его прозвали "Сынком". Сынок почему-то очень любил перекалывать печку, делал это постоянно. Казалось, его специальность далека от этого занятия, на гражданке Датский был киномехаником и жил в городе с миллионным населением. А, впрочем, возможно, это и сыграло свою роль. Никогда раньше Ваньке Датскому не приходилось класть печку. А вот прожил зиму на "Останце", помытарствовал в пургу, позамерзал вдоволь, и

понравилось ему это дело до чертиков. Какой-то печной комплекс. На нем мы с ним и сошлись. Я тоже до ужаса люблю, когда печь слажена без сучка и задоринки. Мне нравится, как говорят профессиональные печники, ее работать. А откуда появилась эта необычная нынче страсть, о том речь впереди.

Так мы с ним возились целыми днями с кирпичами и цементным раствором, а Элли без усталости обихаживал нашу избу и прилегающую к ней территорию. Просто "Трое из Простоквашино".

Плато "Останец" необычное, в ширину метров 800-900. Ровная площадка с одной стороны обрывающаяся карнизом не очень глубокого ущелья под названием Три ведьмы, а с другой - пологим спуском километра в полтора, нисходящим в долину. Еще километра три-четыре по этой долине - и вы в Бухте, то есть на родном КП. Нам казалось, что мы как бы переехали в пригород, от суеты и шума городского. И нам как бы явился некий пенсион до конца службы. Смешно это вспоминать...

Кроме нашей избушки на "Останце" стояла казарма, в которой жили сорок гавриков. Их забота - радиолокационная станция, видящая все на свете. Правда, общались мы мало. У них свои заботы, у нас - свои.

Безмятежную жизнь прервала пурга. Первый раз она пришла в октябре. Подкралась, змея, незаметно.

... Сынок, принц Датский под вечер затопил печь, облив мерзлый уголек соляркой, вытер руки и взял гармошку. Пел он почти всегда одну и ту же песню. Суть жестокого романа сводилась к тому, что кто-то оставил на палубе корабля здоровенный чемодан, загораживающий узкий проход. А рядом с чемоданом стоял посторонний мужик. А потом другой мужик, тоже посторонний, говорит ему, первому постороннему, убери, дескать, чемодан. А тот молчит. Ну, он ему еще раз говорит, как человеку, говорит, по-доброму. А тот молчит. Тут второй посторонний мужик распсиховался и заорал, что если сейчас этот, первый посторонний мужик, не уберет чемодан, то он, второй посторонний мужик, выбросит его, чемодан то есть, в открытое море. А тот молчит. И второй посторонний мужик, не долго думая, крикнул и выбросил этот окаянный чемодан в открытое море. И тут у первого постороннего мужика прорезались и слух и голос. Он ему сказал - "а это был не мой чемодан".

И я, и Элли, и вместе, и врозь, не раз и не два, говорили Ивану, что здесь не деревня, он не первый парень, а мы не робкие девушки. И что его одинокая гармонь у нас уже в печенках сидит. Ничего не помогало. Видно сидело что-то в принце, дожидалось своего часа. И дождалось. Вместо виртуозной работы на киноаппарате "Украина" в фешенебельном кинотеатре "Гигант", и танцев до упаду в городском Доме офицеров, Иван кладет печи и играет на гармошке. Похоже, что он со страхом думает, о том, что все это скоро кончится, и он возвратится в тот кинотеатр, и в Дом офицеров.'

... Ванька провыл второй куплет, потом оборвал песню, поставил гармонь на лавку и вышел на улицу. Через минутку зашел и сказал нам, чтобы мы одевались.

- Пурга, мужики, идет. Поземка классная, через полчаса завоет, подлюка. Пошли за угольком, дизель проверим, ящиков парочку разобьем.

Я и не знаю, что бы мы делали с Элли на этом "Останце", если бы не Сынок. Малосильный парнишка, он, наученный первой зимовкой, шастал по "Останцу" как муравей. То одно в дом притащит, то другое. Без движений его трудно представить. Сынок все время что-то делал: шпаклевал, замазывал, законопачивал, строгал, пилил. И если Элли, человек тоже не бездельный, занимаясь уборкой и разными другими хозяйственными делами, придавал всё же больше значения внешнему виду, то Сынка эта сторона интересовала мало. Для него главное, чтобы щелей не осталось в избушке, чтоб дымоход работал как часы, чтобы все было добротным, и совсем необязательно, чтобы радовало глаз.

И она замела. Со стороны "Трёх ведьм" донёсся кошмарный вой и уже не прекращался до окончания пурги. Мы сначала ежились, но помаленьку привыкли. А потом я высунул нос из дома...

На что это похоже? Представьте снежную пелену, которая начинается прямо у ваших глаз. Только пелена эта, не рождественская, умиротворяющая и сентиментальная, а воющая, бьющая вас с размаху, да не по физиономии, хотя и по ней тоже, а по корпусу, и через секунду после первого удара вы не то чтобы в нокауте, а на четвереньках, и встать не пытайтесь, только хуже будет, так и продвигайтесь на четвереньках, хотя лучше вообще никуда не двигаться, потому что человеку не дано сохранить ориентацию в этой дьявольской круговерти, и вы заблудитесь почти наверняка, только самые опытные еще могут на что-то надеяться и, вдобавок ко всему, если у вас хоть что-нибудь окажется незастегнутым, в это место тут же набьется снег и моментально растает.

Вот такая сумасшедшая пелена.

Первым пострадал от ее коварства бедняга Элли. Часов в одиннадцать вечера, когда стихия уже пробуйствовала вполне достаточно, он встал, надел нашу фирменную стеганку "спецпошив", застегивающуюся наглухо, и пошел к дверям.

- Куда? - спросил его Сынок,

- Куда, куда... На кудыкину гору. Тебе-то что...

- А, - все понял Ванька, - ну, иди...

Вернулся Элли через полчаса. Он, как-то странно открыл дверь, головой, и, придерживая штаны, почти подполз к раскаленной печке.

- Ты чего? - Ошеломленно спросил его я.

Но Элли молчал. Сопя, он сдернул с себя ватные брюки и почти соприкоснулся голой филейной частью с багровым железом.

- Что это с ним? - кинулся я к Сынку.

- Аэродинамика подвела, - хохотал от души Принц.

Потом настала моя очередь и Иван, добрая душа, если к нему, конечно, по-человечески, просветил. А затем, и сам Элли разоткровенничался. Правда, шопотом, чтобы Сынок не слышал...

Туалет наш замело через щелочку в полсантиметра. Недоглядели. Да причем как замело - уборная была плотно забита снегом до основания, он был спрессован, и выкинуть его оттуда в пургу было, естественно, невозможно. Элли, пробравшись к ней ощупью по стене избушки, чуть не заплакал с досады. Он всё же взял лопату и попытался расковырять снежную массу. Потом плюнул и начал искать альтернативные варианты.

Что тоже было не просто. Элли уже наслушался, да и сам понимал, что от избушки больше трех-четырёх шагов делать нельзя. Уйдешь дальше, потеряешь тусклый желтый свет ее окошек, и, считай, хана. Но возвращаться тоже не хотелось... Он встал на четвереньки и, не выпуская из виду окна, начал пробираться к дизельной, именно она казалась ему альтернативным вариантом. А до дизельной было метров семь-восемь. По тем обстоятельствам довольно приличное расстояние. Я бы даже сказал, рискованное. И вряд ли игра стоила свеч...

На благо в двух шагах от избушки повстречалась Элли яма. Не раз я потом видел эти ямы, эти забавы пурги, прихоти непотребствующей природы. Конусообразная, двух-трех метров в диаметре с идеально гладкими стенками - откуда они берутся в пургу, никто не знает. Ветер выметает их, а потом оставляет в покое. И если учесть, что в глубину они достигают человеческого роста, то можно представить, как обрадовался Элли, который, поначалу, свалившись в нее, дико испугался, а потом

обнаружил, что в глаза ему не бьет снег, что ветер не валит его с ног, и вообще, все это происходит наверху, а избушка - вот она, отсюда видно. Словом, нирвана.

Надо сказать, что ему просто не повезло. Да, действительно, пурга делает такие ямы, и потом они стоят часами. Идеальный конус до самой земли. Но, изредка бывает, в яму попадает снежный заряд. И тогда в ней творится что-то невообразимое. Кажется, все свои силы пурга концентрирует в этом небольшом пространстве. Она засыпает яму, потом опять ее выдувает, и вновь засыпает... Происходит это очень быстро.

Вот такой заряд и застал присевшего было на корточки Элли, сломал его духовно и физически, поучил жизни и осторожности, наказал за гордыню, а потом милостиво отпустил. По-первости, Элли, проклиная тот день и час, когда его посадили на самолет и повезли в Бухту, начал пробираться к избушке.

А и надо-то было: опросить у Сынка, обращаясь к нему с почтением, как жить и поступать в таких случаях. Он бы объяснил, что в пургу туалетом служит склад с углем, в который из избушки есть коридорчик. Да, это так, и ничего тут не попишешь, другого выхода нет, приходится мириться, обстоятельства вынуждают...

Так говорил принц Датский.

Так мы прожили год. К следующей зиме и я, и Элли, уже многое умели. Могли сутками не спать, мало есть - если необходимость - пить воду, которая просачивается сквозь шлак потолка, ползать за соляжкой в пургу, когда ветер шумит со скоростью 60 метров в секунду... Словом, многое. И надо же именно тогда, когда мы познали все прелести жизни на "Останце", и поняли, что такое осознанная необходимость, а еще больше научились ее любить, - с нами приключилась беда.

Настоящая, без дураков, чуть не кончившаяся летальным исходом.

Виноватых в этой истории, слава богу, нет, Только госпожа судьба и господин случай. Вот уж окаянная парочка, чтоб ей ни дна, ни покрышки. Кстати сказать, я их представляю себе так: он - кот Бегемот, любовно выписанный Мастером, она - чернобровая, черноглазая, крутобедрая, с внушительной грудью, казачка... Образ дамы, которая может запросто подставить подножку на ровном месте, а от ее затрешины летят с ног дюжие мужики...

В Бухте есть жесткий закон, часть так называемой пурговой дисциплины, действующий и летом: в каждом доме всегда должен быть необходимый запас продуктов. Тот самый НЗ, чтобы в пургу, которая вполне может "чудить" целый месяц, не класть зубы на полку. Собственно, это, пожалуй, одно из немногих правил, которое не контролировалось начальством. Кто пережил хоть одну зиму в Бухте, всегда выполнял его сам. Тут понукания были ни к чему.

И в следующем октябре она пришла к нам как по расписанию - в первых числах. Мы спокойноенько съели все, что полагалось, а потом немного тронули НЗ. Самую малость. Через неделю пурга кончилась. Выдался прекрасный день, который всегда следует за ней: морозный и ясный. Впрочем, потом, за этим днем, все равно что-нибудь портится. Или потепление очень противное в этих местах, или снег, да такой, что разгрести его сразу бесполезно. Просто нужно откапываться и это единственный способ совладать со снегопадом. Короче, какая-нибудь чертовщина!

И мы рассчитывали на этот день. Нужно было спуститься в долину, в часть, придти на склад, получить продукты, сложить их в вещмешки, погрузить на себя ящик, - а если посчастливится, то и два - с тушенкой, и все это поднять в родной дом. Вот уж именно тот случай, когда своя ноша не тянет. Очень весело карабкаться по склону любимой горы, обсуждая при этом качество полученного мороженого мяса. А Датский в таком походе всякий раз говорил, что пришла пора, наконец, поставить брагу, и испуганно оглядывался по сторонам. Чего боялся, кого боялся?! Может командира роты, который незаметно крался за нами по пятам?

Это все, конечно, шутки. Красться за нами по пятам было невозможно. Огромная долина, да и склон "Останца" были пусты, гладки, безжизненны. И зимой, и летом. В этом-то и было самое страшное: бояться некого. И нечего. Ни разу за два года я не увидел здесь ни одного зверя, кроме арктического евражки, ни одного человека, который был бы мне если не незнаком, то хотя бы неожиданен. Нет здесь ни кустов, ни деревьев. Летом мох и камни, зимой снег. Иногда, правда, в долине гонялись друг за другом танки из мотопехотного батальона, стоявшего неподалеку. Но ведь с танком не поговоришь, ну и бояться его, сами понимаете, нечего. Даже наоборот...

Да, скорее наоборот. Когда идешь по долине один, не помогает знание того, что ты один. Не помогает опыт, который шепчет: брось, старина, 491 раз идешь по этой тропинке, ну и что? Видел ли ты хоть кого-нибудь? Слышал ли? То-то и оно, что нет...

И вот после этого "то-то и оно" такая тоска наваливается, такая блажь лезет в голову, такое чудо-юдо ожидаешь увидеть, такая фантазия разыгрывается, что думаешь: тьфу, черт, хоть бы танк проехал, что ли. Все живая душа, все легче.

Но танки в долине ездят редко.

Позднее один человек объяснил мне все одной строчкой: ... "Это край фантазмагорий. Очарованная местность". Фамилия человека Гете.

В тот прекрасный октябрьский день нам не повезло. Накануне Иван слег с температурой, явный грипп, и впервые за время нашего пребывания на Останце забарахлил "Ручеек". Радиостанцию лучше всех знал Датский, но он мог помочь только советом. Пришлось мне откручивать болты, гайки, вывинчивать лампы, а Элли теоретизировать в рамках пособия, прилагающегося к "Ручейку". Но мы, в общем, не беспокоились. Очень редко бывает, чтобы очередная пурга шла впритык с предыдущей. Рассчитывали минимум на неделю. Хотя, если б даже знали, что нас ожидает, то за продуктами пошел бы кто-нибудь один. Другой бы остался "докручивать" "Ручеек". На той стороне, за проливом летали не только «Боинги» с шалавными девушками на борту, это мы тоже хорошо усвоили за минувший год, и варежку раззевать никак нельзя было.

Мы провозились с "Ручейком" до ночи, и пропустили даже поземку, всегда предупреждающую о пурге. И когда я выглянул на улицу, там уже так грохотало, что хоть уши затыкай. Пели свою неизменную песню Три ведьмы, а им подвывала тонким и противным голосом ажурная четырехметровая антенна "Ручейка". "Голос" ей "поставил" ветер. Он, подлец, прохода сквозь решетки цельнометаллической конструкции, овладевал ею. Причем без каких-либо усилий. Насилием здесь и не пахло. Эти двое нравились друг другу.

В общем, попали мы как кур в ошип. Как зеленые салаги. Салажата. Принц Датский, у которого от огорчения температура мгновенно соскочила до нормального уровня, быстренько сварил какое-то варево в большом котле, и предупредил, что в ближайшее время мы будем питаться только этим блюдом, а потом взял баян и начал свою бесконечную историю про чемодан.

- Да хоть ты-то замолчи, - взмолился Элли.

Ванька отложил баян - это было неожиданно и непривычно, поскольку раньше он никогда нам поблажек не давал, - и заходил по избушке. Подошел к "Ручейку", подстроил его, удовлетворенно хмыкнул, посмотрел на нас.

- Братцы, а ведь дело-то наше хреновое.

- То есть?

- Судя по всему пурга-то затяжная. По крайней мере, дней на десять. А у нас НЗ на неделю, да и его мы уже немного распатронили. Так что...

Мы и сами об этом думали. Уж больно рьяная круговерть стояла за окном, скрежетала зубами. Так обычно начинается долгая пурга, в этом сомнений не было. Но хотелось надеяться на лучшее.

- Ладно, Сынок, пой дальше.

И каждый занялся своим делом.

Прошло четыре дня. Я уже сообщил по телефону в недалекую казарму, и в часть, что мы не запаслись продуктами, и что дела наши, судя по всему, невеселые. Ничего, пообещали в ответ, если дойдет до крайности - вырчим.



Да мы и сами-то не очень уж отчаивались. В конце концов, пурга пургой, а сгинуть действительно не дадут.

Но еще через два дня ветер оборвал телефонные провода.

Теперь веселил душу один лишь "Ручеек". Милый сердцу ретранслятор связывал меня, Элли и Принца с остальным миром, но надежд никаких не давал. Через неделю на столе сиротливо стояла банка тушонки и лежали две буханки хлеба.

Что нас чуть не погубило, так это мальчишеское нетерпение и неизвестность. Бесконечный вой надрывал душу, поговорить о ближайших перспективах было не с кем, а Ванька, тот от злости на нелепую ситуацию совсем обалдел. Ему среди ночи почудилось, что кто-то ходит по чердаку, он потихоньку поднялся, взял фонарь, карабин, вскарабкался по лестнице и, не заходя внутрь, выпустил в чердачные балки целую обойму. Мы из-за ветра не слышали, а утром он сам все рассказал, недоумевая, как это могло произойти.

Вот и в тот день я и Элли решили добраться до казармы, взять продукты и вернуться.

Ей богу, никто из нас не чувствовал трагедии, не думал о голодной смерти, не паниковал - даже про себя. То, что произошло с Датским, скорее рассмешило, чем испугало. Слишком мы были молоды тогда, чтобы думать о смерти.

Потому, наверное, и отважились пойти. Надоели неизвестность, ожидание, да и есть хотелось так, что хоть плачь.

Конечно, история уже выходила за рамки, хотя и вполне сурового, но привычного бытия. И все же голод не пугал, а злил. Мы не верили в смерть. Мы думали - пора с этим кончать.

Это была странная жизнь. Необычная. Разумеется, с точки зрения нормального человека. Мы к ней привыкли быстро.

Но потом, примерно через год после того, как я уехал из Бухты, с удивлением вспоминал: а ведь это была странная жизнь.

И дело не только в том, что морская граница здесь почти не в счет. Не в проливе шло невидимое, но постоянно ощущаемое нами противоборство. Над проливом, в воздухе. Американцы патрулировали, барражировали, словом, летали, без перерыва. Круглые сутки.

Точно также текла и наша жизнь. Круглые сутки. Без перерывов. Без перекуров. Без усталости. То, что на материке считалось повышенной боевой готовностью, у нас было повседневностью.

Но дело, повторяю, не только в этом. В чем же?

А во всем. В том, что жили мы совершенно одинаковые и абсолютно разные, жили мы вдвоем уже год в охотничьей избушке на плато "Останец". Что любимым занятием было переключивание печки. А самой что ни на есть непосредственной обязанностью - беспрестанное подстраивание "Ручейки", который (как бы сказала моя бабушка: черт малахольный), время от времени вдруг выдавал порцию джаза с той стороны. Различные там блюзы и спири-чүэлзы. И выходить на улицу могли только двое, третий обязательно оставался и следил за ним. А на улице нас встречали или туман, или пурга, или - тихой ночью - беззвездное черное небо, простирающееся неизвестно откуда до самой земли. Нас встречала Бухта, с ее постоянным напряжением, с загадками, которые нечего было пытаться разгадать. Мы и не разгадывали. Мы жили. Но жизнь эта незаметно и постепенно перестроила нас на свой лад.

Еще и поэтому я и Элли на двенадцатый день пурги завязали потуже уши у шапок, застегнули наглухо спецпошивы, натянули на валенки стеганные штаны, и, посмеиваясь, подталкивая друг друга, вывалились из избушки.

Перед этим Ванька нам устроил аутодафе, по выражению Элли, имеющего пристрастие к мудрым словам. Он орал, что мы салаги по сравнению с ним, или фиалки Монмартра (мы ослепнели), и что без него точно пропадем, а он Останец знает как..., тут он задыхался от возмущения, и новое сравнение никак не приходило в голову, это было видно, и Ванька еще больше злился, кричал матом, топал ногами, убеждал, переходя на более спокойный тон, что есть ориентиры, которые он чувствует, интуитивно, чего не дано нам, и до казармы, выходило, он может доползти за какой-нибудь час, в одиночку, и если уж на то пошло, то надо бросить жребий, а лучше пусть с "Ручейком" по-хорошему

останется Элли, а еще лучше Рогов, потом он кинул в меня табуреткой, сломал ее, убежал в холодный коридорчик и долго оттуда не выходил.

Сынок там плакал. Он чувствовал, что кончим мы сегодня плохо, но ему даже в голову не пришло отговаривать нас от этой затеи. Он тоже считал, что идти надо. Но идти надо непременно ему. Тогда шансы увеличатся.

Ориентиры мы знали и без Датского. Первый, антенна "Ручейка". Наша местная суперзвезда. Поющее чудовище. Короче говоря, по своим морально-оральным - не деловым – качествам, чистой воды шансонетка. Песни ее походили на вой стаи собак по мертвецу. Да еще в пургу...

Вот к ней и надо было сначала ползти, вернее, пятиться, на звук. На вой. Первым стал спиной к ветру Элли. Он опустился на четвереньки, и... дал "задний ход". За ним в этот небольшой ад спустился я.

"Пятащиеся черепахи", мы начали помаленьку продвигаться. Помаленьку... Шаг – упор - передышка. Шаг-упор –передышкам. Шаг-упор-передышка... Да, помаленьку.

Очень скоро нас развернуло, ветер со снегом хлестал в лицо, но закрывать глаза было страшно. Хотя, казалось бы, чего бояться: все равно ничего не видно, хоть открывай, хоть закрывай. Мы шли по "азимуту", цепляясь за бугорки, столбики, бочки с соляжкой. Они-то и служили ориентирами.

И через час-другой мы все-таки вышли к "ненаглядной певунье". Ненаглядной в том смысле, что глаза бы на нее не глядели. Да они и, кстати, не глядели. Видеть - этой милости лишила нас мать-природа. Это нас-то, считающих себя ее венцом. Поневоле задумаешься: а может быть зря мы почетный титул присвоили. Прикарманили. ..

- Это вам не бананы в апельсиновой роще жрать, - подумал Элли, прислоняясь к тросу-оттяжке.

Мы отдыхали.

- И не апельсины в банановой, - подумал я в ответ. Первый успех - и еще какой успех! - вместо робкой надежды на благополучный исход путешествия, вселил в нас наглость и самонадеянность. Сидя у норовистой антенны, мы уже чувствовали себя победителями. А зря...

Я сейчас не припомню, сколько мы отдыхали. Кажется, не очень-то и долго. Нам не терпелось добраться до казармы. Желание, впрочем, вполне понятное.

- Пора и честь знать, Владимир Борисович, загостились мы у этой психопатки, - сказал Элли и начал принимать исходную позицию. За ним ( кстати, Владимир Борисович - это я. Наконец-то представился случай познакомиться. Надеюсь, вам также приятно, как и мне) и я.

Сбились с пути мы сразу. Следующий ориентир - замерзшее озерцо, нашли довольно быстро, а вот потом... Короче, больше ориентиры нам не попадались.

Дошло это до нас только тогда, когда сначала я, а потом и Элли, державшийся за мой брючный ремень, покатались по пологому спуску Останца. Дошло и другое - что дело наше швах.

Если на плато мы все же кое-как ориентировались и в пургу, и в кромешной тьме, и куда бы ни попали, все же смогли бы определить, где находится наша избушка и казарма, то на спуске и в долине нечего было и пытаться это сделать. Собственно, в такой ситуации, единственно правильное решение - сидеть на месте. Так рассказывают, советуют бывалые люди, которых покрутила пурга. Когда понял, что начинаешь блудить, садись и жди. Или тебя найдут, или пурга кончится.

А пойдешь дальше, рискуешь попасть в ущелье. В общем, как мы тогда говорили: "рыск". Лучше припукнуть, на месте - оно надежней.

Но наше положение все же было особенными. Пурга-то шла уже двенадцатые сутки, то есть была длинной пургой, и кто ее знает, когда она закончится: через час, через день, или через неделю. Она была способна и на то, и на другое, и на третье! И найти бы нас никто не нашел. Дело в том, что мы догадывались, на каком склоне "Останца" находимся. Слава, конечно, Богу, что нас не вынесло к ущелью, но и эта сторона хорошего обещала мало. Здесь и в нормальную-то погоду люди редко появлялась, а уж в пургу... Потом мы знали, что если начнут искать, то поедут, конечно, на ГТЭСЭ и сначала, естественно, обыщут дорогу. Потому мы решили выйти к этой местной автостраде. Пожалуй, только так можно было спастись.

Про себя я уже клял путешествие всякими разноцветными словами, но не отчаивался. Еще не верилось, что все это происходит с нами. А история принимала очень уж скверный оборот. Что могла сделать пурга с цветущими молодыми людьми? Измотать, выжать все силы, потом бросить в сугроб "отдохнуть". Но это был бы уже не простой отдых, а вечный покой. Хотя смерть сама по себе не такая уж и страшная, ты настолько устал, что чувства и мысли куда-то исчезли. Хочется лишь одного - того самого покоя. Поспать хочется, а что уже никогда не проснешься, об этом не думаешь. Пурга не дает ни сил, ни времени на размышления!

Костлявая была совсем радом, руку протяни, дотронешься. Но что интересно: и тогда, и потом, если приходилось с ней сталкиваться, вплотную, я не испытывал никаких таких особенных ощущений. Как говорят теперь юноши, не старше тридцати, эмоций - ноль. Это либо происходило в доли секунды, что и сообразить-то ничего не успевал, не только почувствовать, либо, как в ту пургу, мною владело полное и безнадежное отупение.

Правда, попав в такой переплет, никак не миновать пограничного момента. То есть, состояния, когда ты уже заснул или засыпаешь, и душа твоя на полпути к каким-нибудь небесным вратам. Собственно, это уже и не жизнь. Так, не поймешь что. Но чувствуешь себя, как космонавт на орбите, хорошо, и сны снятся великолепные.

Много лет спустя, на даче у самого приличного пляжа в Одессе, Аркадии, я услышал, как одна разухабистая мадам требовала продолжения вечеринки, привода в свою пользу лишь один аргумент: "А, мужики, а чего вы скисли, да подумайте, сколько ее осталось там, этой жизни, поди знай!". - Она была неправа, вечеринку действительно пора было заканчивать, она была неправа во всем, кроме одного: никто не знает, сколько ее там осталось, этой жизни.

После того, как стало совсем ясно, что мы сбились, да еще попали не в самое удачное место на "Останце", мы наконец-то поняли, что жизни, по всей вероятности, осталось совсем немного. Но ничего не колобродило внутри, не рвалось наружу в соплях и панике.

Все... Что все-то? Не знаю, но что-то такое, что я могу лишь обозначить словом "все", все тихо - спокойно забилося куда-то и прикорнуло.

Нам надо было идти по кромке пологого спуска, чтобы выйти к спасительной дороге. Причем, мало вероятно было, что мы ее найдем. Она, конечно, обрамлена столбиками, и вообще отличается от остальной местности, но снегом-то ее переметает точно также, как и все остальное пространство. Но другого выхода просто не было - и мы пошли.

Ничего интересного о большей части наших мытарств по этому чертовому плато я рассказать не могу - просто нечего. Ну, брели да и брели, ползли, матерились про себя, и постепенно теряли силы.

Но если бы только силы. У Элли я ничего не спрашивал, как тут спросишь, не до разговоров, а главное, ни к чему это, и так ясно, хана скоро наступит. Баста, финита, конец, словом, всему на свете, то бишь нашему бытию, подходит оно к завершающей своей точке, пропади оно все пропадом, и Бухта эта, и "Останец", и Чукотское море, есть ведь где-то и другие моря, Черное, например, а может и нету его, и не было никогда, а есть на всем белом свете только Чукотское, но нет, есть, было по крайней мере, я же помню, и сейчас где-нибудь в Ялте люди ловят совершеннейший кайф на его берегах, а тут приходится загигаться, да, Володя, в нехорошую историю ты вляпался, и Элли с тобой, интересно, чем же все это кончится, и не надо задавать глупых вопросов ни окружающим, ни, тем более, себе, понятно ведь, чем кончится, смертью, брат, это кончится, замерз уже так, что вроде бы и не замерз, и куда это мы идем, а, главное, зачем, и так уже сил никаких, какая разница, где умирать - здесь или на дороге, которую мы никогда не найдем, и этот Элли, придурок, куда он тащится, все, на фиг, надо ложиться отдыхать, а там посмотрим, там поглядим, там видно будет, но отдохнуть надо обязательно, я не могу больше двигаться, да и не хочу, и к черту, к черту все...

- Элли,- крикнул я, - я не пойду. К черту. Буду лежать и ждать, пока она кончится. Это бесполезно, не найдем дорогу, да и вряд ли ГТС прорвется через такую пургу, а если даже прорвется, то что же, так он сразу на нас и наткнется? Нет, давай зароемся и будем ждать, это надежнее...

- Идём, идём, - ответил Элли, и пополз дальше. Мне ничего не оставалось, одному-то просто жутко, я вцепился в его ремень, и... и опять эти проклятые: шаг-упор-передышка, шаг-упор-передышка. Но

еще примерно часа через полтора я уже молча отцепился от Элли. Он этого не почувствовала Он уполз, я остался, и если что-нибудь и был способен чувствовать, то чувствовал радость. Наконец-то я лежу, отдыхаю, никого не трогаю, и меня тоже никто не трогает, ну с чем сравнить это чувство, скажем, вы развелись с нелюбимой женой, и у вас первый день свободы, или наоборот, женились на любимой, и первый день вместе, вдвоем, и больше никого вокруг, как пишут в романах о любви, никого в целом свете, вот и я остался один в целом свете, я отдыхал, засыпал, так хорошо мне никогда не было...

... Было, было. Я лежу на небольшой кровати, рядом мама вяжет. Потом смотрит на меня испуганно, и тут же испуг сменяет радость: "Господи, боже ты мой, сыночек, головку держишь... Ах, ты моя радость!" Ее радость передается и мне. Я лежу, радуюсь, коплю силы, чтобы держать голову поднятой дальше.

Непостижимо, откуда всплыла в памяти четкая картинка, из какой сверхглубины.

А в десятом, перед экзаменами, приехали гастролеры в Чомбей, и после концерта раздухарились, устроили в парке танцы. И я с какой-то совершенно незнакомой девчонкой из стройотряда танцевал рок-н-рол, часов до двух ночи, а утром, мы с ней очнулись на берегу Кетчима, уже в другом парке, посмотрели друг на друга и рассмеялись: губы наши как будто пчелы искусили...

Девчонка - прозрачная, тонкая, звонкая... И утро такое же. Солнце еще не разогрелось, трава в росе, какие-то цветы, каши и жарки, какие-то сибирские, пахнут свежестью... Дурманят не меньше, чем нежданно-негаданная подружка.

Блаженство испортил Элли.

- Вставай, сволочь, - закричал он мне куда-то в нос.

- Идите, Шура, идите, - по-моему, я даже улыбнулся в ответ, так мне было хорошо.

- Ага, значит острить ты можешь, а идти нет, пижон проклятый, - вдруг совершенно спокойно сказал Элли, потом также спокойно развернулся, насколько позволяли ветер и застегнутый наглухо спецпошив, и что было силы двинул меня в ухо.

Шапка и натянутый на нее капюшон смягчили удар, но все равно больно. И сильно больно. Рука у Элли похожа на ту чугунную бабу, которой превращают в пыль и прах старые дома.

- Кретин, - вяло крикнул я.

- Ага, значит я кретин, а ты честный малый, - констатировал Элли, и звезданул меня еще раз. - Я тебя правильно понял?

- Ты что, сбесился, Элли?

- Я?! Сбесился ты, и не сейчас. Ты уже давно бесишься. С жиру. Я подозреваю, что это у тебя с самого рождения. Я это давно подозреваю. Ты что ж, гад, думаешь, что я такой валенок, что действительно поддался тогда, на КП, на твою подначку? Все я прекрасно понимал, специально тянул волынку, оперативному лапшу на уши вешал, чтобы ты свой дурацкий карандаш... Ты, мелкий паскудник, маменькин сынок, щенок, ты считаешь, что мы все тут вокруг тебя того... И я, и Ванька, все мы по сравнению с тобой недоразвитые, дерьмо, словом, да, так ты считаешь.

Тут я решил немного подождать со сном и отдыхом. Мне стало интересно, что этот супермен из Сусумана еще скажет. И вот с ним-то я беду бедовал, делился последним, а он, гад паршивый, вот какого он мнения о моей скромной персоне. Ну, такие штуки даром никому не проходят, и Элли не исключение, я ему покажу кузькину мать, я ему, японский городской, тоже сейчас всю правду-матку выложу, ну говори же, мой молчаливый герой, говори, я тебя внимательно слушаю, а эту пургу я в гробу видел, в белых тапочках и тебя вместе с ней...

Но Элли молчал.

- Что замолчал?

- То и замолчал. Хочу говорить, хочу молчу.

- А раньше чего молчал?

- Раньше? - Он как-то неуклюже сел, вернее упал на сыпучий наст. Его слова теперь еле доносились до меня. - Я бы и сейчас ничего не сказал, если бы ты не наложил в штаны.

- Это ты зря. Просто лучше зарыться, я ж тебе говорил...

- Зарыться и не вырыться. Нет уж, это не для меня. И тебе не дам, хоть ты и пижон несчастный. Не та это пурга, чтобы зарываться. Не сдюжим мы и суток в снегу с такой голодухи. Ослабли. Идти надо, а не сопли на кулак наматывать.

- Так что же ты лежишь?

Озверевшее темное пространство простиралось на многие - многие километры. Не счесть их, разделяющих меня с мамой, и той девчонкой из стройотряда...

Еще "добрых" часа три-четыре (впрочем, кто его знает, может больше, может меньше, говорю о времени чисто интуитивно) мы пятились друг за другом. Потом Элли увидел сквозь пелену два расплывающихся желтых пятна, сказал об этом мне, я не поверил, хотя и сам их увидел, мы просто поползли к ним, на брюхе, по пластунски, прекрасно понимая, что они нам чудятся, что такая удача бывает раз в сто лет, но, видимо, сто лет уже истекали, а до нас никому раньше не везло, и судьба, подвывая от жадности голосом пурги, отдала мне и Элли положенное и законное.

БМП мотострелков стоял, тихо урча мотором. Внутри было светло, просторно, великолепно, как... как в концертном зале Чайковского. Пехота встретила нас хорошо. Все дальнейшее общение с ней проходило в теплой и дружеской обстановке.

И наконец-то состоялся, по словам Элли, брекфест - наш первый завтрак за последние несколько дней. Нам дали по банке холодной тушенки, луковице с солью, хлеб, потом строганинки, но, узнав сколько дней мы не ели, строганинку отобрали...

- Береженого бог бережет, - посмеивался над нашей жадностью майор Пугачёв, который был старшим в БМП, и вообще, представителем нашего рода войск в этой машине. - А то грец его знает, что может произойти.

Он часто так говорил. Что такое грец Пугачев не знал, так же как и не знала его престарелая интеллигентная тётя, от которой майор услышал поговорку. Всё это впоследствии рассказал мне Элли, который специально интересовался вопросом. Довольно щекотливым, на мой взгляд.

- А чего стоим? - Ковыряя спичкой в зубах, спросил мой друг. - Там Датский с голодухи пухнет, а мы здесь вечерние мелодии слушаем.

- Быстро ты очухался, - ответил ему мотострелок Сашка Попов, - еще полчаса назад мог бы и сам скovyрнуться. Посиди, брат, отдышись. Не часто людям так везет! Со смертью шутили. По доброму-то, на губу вас надо.

Он прав. "Шутка" была еще та...

На губу, на губу... Ура губе!

Когда жизнь (к счастью, очень редко) подводит меня к "барьеру", и кто-то невидимый поднимает "дуэльный пистолет" и стреляет...

...Тогда...

До сих пор пули пролетали мимо. Что и говорить, я этому, несказанно рад. Мне не хочется больше стоять под прицелом, это совершенно точно.

Неважно, быстро или медленно все происходит. Душа уже мертва. Еще мертва. Плоть жива, голова работает, и можно увидеть все, но только как со стороны.

Потом, как вспомнишь, сразу бессонница. Мне не страшно, нет. Чувствуешь: эти мысли, раздирающие тебя... Наждачные мысли. Да - чем-то плотным и грубым, по тонкому и живому. Они рвут меня на части. Я пытаюсь заменить их другими, но не тут-то было.

Нет, это не страх. Это, дорогие, страшнее страха. Хочется встать, заорать благим и неблагим матом, и убежать куда-нибудь...

Куда?

Я встаю, курю, пытаюсь читать, пью - небольшими глотками, - горький ночной чай, и думаю, думаю, думаю...

О чем? В том-то и дело, что ни о чем!

О чём? Как только я начинаю думать о смерти, так тут же я прекращаю думать о ней.

Молодость мешает приблизиться к смерти умом. Что-то будет в старости...

Без сомнения, пожалуй, можно утверждать только одно: чувствовать, слышать, а потом размышлять о своей смерти - это совсем не то, что думать и страдать от смерти другого, пусть даже самого близкого тебе человека. Хотя - и для меня это закономерность - сначала думаешь о смерти другого. А потом уже о своей. И одно неотделимо от другого.

Сашка Попов двинул рычагом и мы медленно поехали по заметенной дороге к нашему домику. Живые и невредимые. Ну, если только малость не в себе...

- Не журишь, хлопцы, - саданул меня локтем в бок еще один славный боец из того же пехотного батальона Витька Салахов по прозвищу "Несчастье", - главное дело выбрались, а губу перезимуем... Как-то снисходительно он это сказал. У нас вообще с пехотой отношения сложные и тонкие. Они нас считают, ну, как бы, недотепами, что ли, а мы их...

\* \* \*

Впрочем, лучше я объясню, что к чему. И кто есть кто.

Им, конечно, мало того, что они по долине на своих двух танках гоняют. Им подавай учения, и чтобы обязательно были как настоящие. Они у нас тут все супермены. Гвардейцы кардинала и мушкетеры короля вместе взятые. У каждого в одном месте шило сидит, такие они мобильные. Короче, эти ребята полностью владеют стратегией и тактикой современного боя.

А вот играть в войну кроме нас им не с кем. Обстоятельство, которое доставляет пехотинцам одни неприятности и огорчения.

Начнем с того, что мы не жаждем их игрищ и забав. У нас служба такая, что больно не разыграешься. Эти жеребцы целый день на свежем воздухе галопируют, приемы разные изучают, меньше десяти километров в день не бегают, а мы? Двенадцать часов сидим взаперти, кто в наушниках, кто еще в чем-нибудь, потом выберемся, тут старшина начинает права качать - хозработы, уборка, прочая мура, без которой не проживешь. А потом спать. А проснулся - пожалте бриться, пора на смену, на КП, в подземный бункер, а смена - это вовсе не игрушки на свежем воздухе.

Да и противно, по чести сказать, когда на тебя неизвестно откуда вдруг, спрыгивает с воем, гиком, свистом, сопеньем и завываньем здоровенный детина, этакий Соловей-разбойник с современным автоматом, бьет, вроде понарошку, по шее, а она потом неделю не гнется, так у них считается понарошку, а если меньше недели шея у противника болит, их ротный за это дает наряды вне очереди, и ребята стараются не опозорить честь подразделения, не насажать черных пятен на репутацию, опять же, кому охота наряды получать, но мы-то тут, простите, причем, а притом, что окрест на сотни километров военных больше нет, и если соревноваться-тренироваться, то только с нами.

Вот так испокон веку пехотинцы отрабатывали свои захваты и перехваты, а мы мучались. Давать отпор им трудно, люди они тренированные, да и некогда. Пока дерешься, в брошенном на произвол судьбы воздухе может случиться непредвиденное. И отвечать за это нам, а не пехоте. Но что делать?

И все же верно в народе говорят, что на каждого Соловья-разбойника есть свой Илья Муромец. Помогли сами мотострелки. Вернее, один из них, наш нынешний спаситель (выходит, это у него вошло в привычку - спасать. В прошлый раз он спас всю нашу часть), Витька Салахов. Он как-то вот так спрыгнул с воем и уханьем на Сережку Колесникова, очень мирного по натуре человека, но физически развитого необыкновенно. До армии всерьез занимался штангой. Сережка перепугался по обыкновению, не рассчитал, до расчетов ли, и так двинул Витьку Салахова по ребрам, что три из них то ли треснули, то ли совсем сломались. Витька тут же, прямо на поле боя, получил от ротного массу нарядов вне очереди, отпуск по болезни, и кличку "Несчастье".

И с тех пор, прежде чем нападать, их командир звонит нашему и предупреждает о готовящейся акции. Наш всегда отнекивается, говорит о серьезности положения в целом (янки что-то начали летать слишком нахально), предлагает вариант ("в Бухте есть крошечный пост моряков-пограничников, вот ими и овладевайте, а мы уж по горло сыты"), говорит, предлагает, но в конце концов соглашается. В душе он понимает командира пехоты, и сочувствует ему.

(Чуть-чуть о морячках. При упоминании об этих трех доходягах командир пехоты приходит в священный и неистовый трепет. Эти хмыри в бескозырках, услышав или увидев атакующих, вмиг

бросают оружие, снимают зачем-то коротенькие щегольские сапожки и моментально бросают "руки в гору". А потом еще жалуются своему начальству, что эти "варвары" отрывают их от приборов.

Прямо аспиранты какие-то. Смех и грех).

Нам легче, нас больше. И мы теперь знаем день и час. И когда ухари врываются в святая святых, поминая, кстати, всех святых (мы это тоже делаем, но молча. Это к тому, что святых нет ни с той, ни с этой стороны), спокойно продолжаем работать. Без паники и лишних телодвижений. Без эмоций. Пехотинцы обижаются. Они говорят, что это стыдно, что мы без боя сдаем позиции, и что на войне за такие штучки... ого-го-го, что на войне за такие штучки бывает. Мы молчим. Сидим на своих местах и работаем. Парни из мотострелкового еще мнутя, некоторое время, стараются спровоцировать какого-нибудь салагу, потом стреляют у нас сигареты и уходят, поправляя сбившиеся в суе шапки, спецпошивы, небрежно кидая на плечи автоматы и проклиная Витьку Салахова, который нынче из кухни не вылезает. Кончилось золотое времечко, когда мы, оглушенные холостой пальбой, сбивались в кучу, как бараны, бросались в рукопашную, давая тем самым продемонстрировать нам силу, выучку, смекалку, отменную реакцию, да и многие другие качества, приобретенные непосильным трудом. До нас еще долго доносятся слова песни "Не плачь, девчонка". А раньше пели "Чтобы с боем взять Приморье". Сильные их голоса летят над спокойной Бухтой. В общем-то Бухта особа не равнодушная. А тут молчит. Лишь изредка отзывается эхом, очень ироническим.

\* \* \*

Ванька встретил нас с испуганными глазами, но ничего не сказал. Потом, спустя время, как и полагается человеку маленького роста и огромной выдержки, смешанной с волей и самообладанием, процедил любимое присловие моей мамы: "А я уже что только тут не передумал..." Помолчал еще немного и добавил: "И надо же, на пехоту набрели... Такое раз в сто лет бывает. А так, сосунки ведь, куда вы без меня на Останце."

Пришлось ему объяснять, что та сотня лет, про которую он толкует, кончилась несколько часов назад, но мы еще успели.

- А я, пока ждал, печку переложил, - засуетился Принц.

- Клизма ты пятиведерная, а не принц, - сказал вдруг майор Пугачев, - тебе надо было по "Останцу" ползти, а не им. Старослужащий называется...

Если в Ваньку и вмещалось пять ведер, (что маловероятно), то после слов Пугачева он как-то сжался и больше ведра в него никто не влил бы. Я и Элли хотели встрять, но майор больше ничего не сказал, а Датский по-тихому куда-то смылся. Потом я стал рассказывать бойцам-пехотинцам об устройстве "Ручейка", не усложняя, но и не скрывая, что устройство стоит на уровне атомного реактора, а потом из угольного сарая раздался такой мат-перемат, что все мы бросили свои дела. Из коридорчика вышел Элли, он нес на руках посиневшего Сынка.

- Вешаться вздумал, - сказал мне Элли. - Успел снять. Думаю, че это он затих. Пошел к туалету, в дизельную, нету. А он уже, голубчик, брючный ремень на перекладину закинул...

Элли повернулся к майору Пугачеву и сказал: "А тебе, майор, я б на гражданке кое-что ответил. И не посмотрел бы, что ты такой размордай..."

Майор ссутулился, вспыхнул багрянец на морщинистой здоровенной шее, но промолчал. Ситуация была, как говорят специалисты, нештатная, а в пургу в Бухте и ломы летают... Но, может, и не из-за этого промолчал. Грец его знает, этого майора. Ваньку мы откачали, и сгрудились все возле веселой печки.

Но недолго оставалось нам греться у этого очага. Когда закончилась пурга, нас спустили в полк, в медсанчасть, на обследование. И на "Останец" мы уже не вернулись. Ваньку забрали в хозвзвод, Элли на локатор, а меня поставили... Кем бы вы думали? М-да... Кочегаром меня поставили. И не в ознаменование каких-то заслуг, а просто должность к моменту решения моей участи оказалась вакантной, и старшина роты, помнивший (уж я о нём забыл) о небольшом, но позорном, филологическом прошлом, и считавший, что это черное пятно может стереть только непосильный

труд, не колеблясь отослал меня в котельную. Потом я был поваром, а моим начальником стал сержант Дьячук, которого мне никогда не забыть. Он велел (это я так говорю - велел. Просто нет в природе слова, которым можно было бы передать состояние Дьячука в момент принятия им решения и доведения до моего сведения. Вот я и выбрал самое простое – велел), белить каждый день поочередно все стенки на кухне и потолок, а также красить пол. В жизни больше не встречал помещений чище моей кухни. Как говорил Дьячук, пустячок, а приятно.

Закончил я службу, как и полагается интеллигенту, в писарях. Старшина в этот период моей деятельности, увидев меня в казарме, только что не плевался.

А когда мы уходили с "Останца", наша антенна-суперзвезда спела что-то задушевное. Кажется, это была песенка Утесова "Как много девушек хороших..." Растрогалась, старушка. И ветерок был слабый.

С Элли мы виделись часто. Про пургу почти не вспоминали. Так, ради хохмы, в кругу друзей.

И лишь перед отъездом на материк, этот мыслитель сказал мне: "А все-таки та пурга кое-чему нас научила".

Я уже говорил, что мне и без того "нежного признания" было немного стыдно перед ним за дурацкий розыгрыш, которым я, в общем-то, спасал свою шкуру. Надо, конечно, называть вещи своими именами, но зачем мусолить, зачем травить раны?

Но оказалось, никто ничего не мусолил и не травил. Потому что Элли продолжил: "У нас теперь идиосинкразия к голоду. То есть я хотел сказать, стойкий иммунитет. Мы теперь можем запросто объявлять голодовки против любой агрессии империализма без особых для себя последствий. Нас теперь этой штукой не уморишь, а, брат?"

Мы расстались с ним, зная, что еще обязательно увидимся.

"Вот и увиделись, - думал я лежа на Эллином диване и впадая в полную дрему.

\*\*\*

А потом и вовсе уснул.

И приснился сон. После таких снов несколько минут сидишь в отупении, и думаешь: Ну с чего вдруг? С какой стати? Зачем? Откуда?"

Словом, возникает много вопросов.

Снилась одна латиноамериканская страна. Небольшая и не маленькая. Но... в общем, хочу обойтись без географических уточнений. Имею право, как... Да, кстати, как кто? Как автор сна? Его владелец? Наверное, как сновидец-единоличник. Или сонный индивидуалист...

Нет, ну вы чувствуете, что эта работка не по мне?

Тут нужна рука мэтра, поэта, тут работы для пишущего о супервремени в гиперпространствах...

Вот придумал, наконец: как очевидец-морфеист.

Снится: иду по их столице. Пристаю к прохожим, даже задираю их. Говорю: да ведь у вас здесь рай божий. Климат, обстановочка, море теплое, пляжи вон какие, то, се, почему волнуемся?

- У нас свои проблемы, - замечают прохожие.

-Э-э-э, бросьте. Какие могут быть проблемы в раю? Жизни не знаете. Жареный петух вас не клевал.

Вот, скажите, к примеру, если она, жизнь-то есть, столкнет вас в непроходимой чащобе с тигром нос к носу, тогда как, а? Что будете делать? Ведь побежите от зверя, как пить дать, побежите, можете не отвечать, по глазам вижу, побежите. Я и говорю, жизни не знаете, потому и гибнете пачками. Счас я вас научу как себя вести наедине со зверем...

- Да пошел ты, - вежливо отвечает мне коренное население

- Глупы-и-и,- говорю тогда я им. - Не хотите, значит, просвещаться. Смотрите, дождетесь у меня, передам весь накопленный опыт народам Севера.

Шел, шел, а возле Музея инквизиции преградили путь молчаливые полицейские. Они наставили на меня короткие дула автоматов "Узи", такой машины, которую многие земляне ненавидят больше, чем атомную, нейтронную и водородную бомбы, вместе взятые, и продолжали молчать.



- Ша, пацаны, здесь мирная демонстрация, - с полным самообладанием загудел я и сделал попытку прорыва.

Молчаливые меня оттолкнули, я сел на задницу, чувствую, кто-то помогает подняться. Оглядываюсь - Сашка Севастьяненко, второй пилот Ан-2 из Чомбея, греческая киноактриса Мелина Меркури, театральный критик из Бостона Джордж, фамилию он просил не называть, и еще один мужик, фотограф из Австралии, Вернер Бартел.

- Те че, - втолковывают они мне, - сдурел, Рогов, что ли? Могут ведь и по голове настучать, несмотря на демократические свободы. Вставай, идем с нами, где-нибудь посидим, потолкуем.

- Я им кто, - продолжаю орать я, - пешка в игре, что ли...

Но встаю и иду за ребятами. А вслед нам то ли свисток, то ли звонок...

\*\*\*

Тут-то и проснулся. Вот так посидел в удивлении, не сон, а фильм, помотал башкой, и понял, что звонит телефон.

- Проснулся, лентяй? – отчего-то веселился и ликовал Иностранец, - Только не говори мне, что ты работал. Работал я, у меня есть свидетель, а у тебя свидетеля нет. Поэтому, даже если ты и работал, факт не доказуемый, а потому ты не работал, а спал. Факты - упрямая вещь.

- А кто свидетель?

- Элли встретил. Продолжает показывать достопримечательности, но пора завязывать со съемкой, дождь пошел.

- А просто так ты не можешь смотреть?

- А ты? - Я хоть и недолюбиваю, вопрос на вопрос, но промолчал, знал, что Иностранец не пижонит.

- Так, и что предпримем?

- Мы решили домой не заходить. Ждём тебя через полчаса у "Огней Колымы". Хватит тебе полчаса?

- Вполне. А опоздаю, так садитесь и заказывайте, и на меня. Вкус мой знаете.

- Да уж, что, что, а это мы знаем.

Я посмотрел в окно. Действительно, на улице утренней отрады не было уже и в помине. Никаких тебе солнечных лучей с бликами на морской воде, а очень мелкий, назойливый дождь. На него смотреть через стекло - вроде кончился, а откроешь форточку - нет, идет, мельтешит, но совсем уж какой-то невидимый. Облака висят над Бухтой низко, а туман, их сыночек, обнаглел до крайности, и опустился неровно разорванными кусками, прямо на поселок. Ни дать, ни взять, Чомбей в середине сентября. Самое суровое время для пользующихся услугами Аэрофлота, особенно в этих местах. Такая погода - это дни, недели, а то и весь месяц отсидки по погоде.

Ах, туманы мои, растуманы... Давно уж развеялся их романтически-сентиментальный флер в моих глазах! Я как-то в трудную солдатско-кочевую пору, заснул, прямо на берегу Бухты. А проснулся, вокруг белым-бело. И знобкий холод, как будто пустычный, но незаметно пробиравший до костей. Как писали в старину: что за притча?

И... что же это такое, люди добрые? Спросонья сразу и не понял. Туман окутал меня, словно я Альбион. Куда идти? Вообще-то, конечно, туман не пурга, не заблудишься, и все равно... Как бы это сказать... Не по себе, что ли, от самого примитивно-беспардонного обмана (ведь проснись тогда возле меня, ну, скажем, человек сто, или десять, или даже двое, мы бы тотчас обнаружили друг друга); и от обреченного на провал, но из-за этого еще более самоуверенного, и - надо признать - филигранного способа исполнения этого обмана (ведь тотчас - это тоже время).

Никому, черт возьми, нельзя позволять, делать из себя дурака. Никогда. Даже на какой-то миг и (бывает такое) с самыми благими намерениями.

Вроде безвредная штука - туман. А неприятная. Я, во всяком случае, отношусь к нему без симпатий. И теперь, когда уже не приходится засыпать на каменистом берегу Бухты, злюсь, чувствуя его холодное и влажное прикосновение.

Не торопился я к друзьям. Подогрел воду в чайнике, сварил кофе, послушал последние известия по радио, надел куртку и вышел.

Дождь все же закончился. Грязища на улице стояла непролазная, и я вспомнил старый испытанный способ - стал на короб, в котором скрываются трубы бухтинского водопровода, и пошел по нему. Водопровод, или, как его здесь называют, водовод, высоко над землей, не меньше полуметра! В землю трубы в Бухте не закапывают - вечная мерзлота...

А с этим коробом когда-то пришлось и мне повозиться. Трубы в нем кутают в стекловату, а это очень противное вещество. Сутки - другие от нее трудно избавиться, и царапашь тело от нещадного зуда. Ну да, все в прошлом...

Ничего в Бухте почти не изменилось. Все те же коттеджи, бараки, несколько пятиэтажек... Здесь жил (а может и живет) мой ротный старшина. Ужас как не любил людей, умевших грамотно не то что писать - говорить. Терпеть, по его выражению, не переваривал. Меня в первую очередь. Наверное, кто-то из его предков или в инквизиции работал, или иезуитом был. Ведь что делал, подлец: ставил с утра в наряд на кухню. В час дня, я, как и положено, "отбивался", то бишь, ложился спать, а в половине второго, то есть в тот момент, когда засыпаешь уже по-настоящему, старшина, якобы забыв, что я в наряде, удивленно будил меня: "А ты че, Рогов, тут спишь-то, ёлкизеленые?"

После короткого объяснения оставлял в покое, но сон уже не шел.

В общем, старшина как старшина. Классический.

А здесь вот происходили мои тайные свидания с некоей леди из десятого класса Бухтинской средней школы. Здесь - это на водокачке госпиталя. Тепло и уютно было там.

Здесь место дуэли чести. До сих пор после нее передний зуб чуть-чуть обломан, и все никак не решусь вставить новый, или хотя бы этот до конца обломать...

Неожиданно как из-под земли, метрах в пяти от меня появилась парочка. Как-то смешно было глядеть на их спины и представлять спереди... Она - тонкая изящная, но высоченная... Он - толстоват и по сравнению с ней очень низкий. В общем, как сказал бы старшина, парочка - баран да ярочка. Сказал бы неодобрительно, потому что относится к числу людей, которые любые контрасты считают уже нарушением правил, традиций, укладов и так далее. Для них это вещь нестерпимая.

До меня глухо доносилось: "Нет, ты заметил, какой был у нее..."

Я не понял: то ли бруньон, то ли ланжерон... Заговорил мужчина: "Заметил, заметил... А позади все ажурное..."

- Где, где?! - Охнул женский голос.

- Детка, это хоть и родная, но все же разговорная речь. Не придирайся, пожалуйста...

И тут я чуть не споткнулся. Голоса были знакомые, причем, хорошо знакомые. Кто это в Бухте объявился из старых друзей? А может, вовсе и не друзей? И такие ведь есть...

Впереди замаячили "Огни Калымы", это пристанище чревоугодников и мотов - холостяков, молодых лейтенантов, мичманов и прапорщиков. Я попытался догнать парочку, но они прибавили шаг и зашли в ресторан. Все одно к одному, мне туда же, там и узнаю, кто это.

Ребята сидели недалеко от входа. На столе - подарок Али "Окейя", в бутылке-фляжке из белого пластика, без горлышка, стоит, как в лесу избушка на курьих ножках, без окон, без дверей, без даже намека на какую-нибудь этикетку. И котлеты какие-то дымятся. Только что, по видимому, принесли.

- Ты где бродишь? - Недовольно пристрожили они меня. - Все стынет, мы ждем, не начинаем...

- А кто вам виноват? Начинали бы. Что это за мясо, Элли?

- Э, стареешь, брат, не узнал оленину.

- Оленина по-эльзасски, - не удержался Иностранец.

- Почему по-эльзасски?

- А я знаю? По-эльзасски и все.

- Что-то я не очень верю, что вы не начинали. Судя по полемике...

- Он мне все время хамит, возражает и ставит палки в колеса, - пожаловался Элли.

- Терпи, казак, атаманом будешь.

- Иностранец, я тебя не дезавуирую только потому, что ты гость Бухты. Но...

- Тихо, братцы, тихо, - успокоил я их. - Прения прекращаются. Переходим к закрытию официального собрания и началу торжеств по поводу прибытия на Бухтинскую землю...

- Добро, - сказал Элли, мы чокнулись, и отрезали по кусочку оленины.

- Слушай, Иностранец, я тут нечаянно на улице встретил одну пару...

- Любой хорошей паре нужна хорошая пора, - тут же откликнулся Иностранец.

- Да подожди ты... Стой... вот послушай... Слышишь?..

Тут и Иностранец насторожился, услышав густой бас того мужика с улицы. Он сидел со своей спутницей за колонной, и нам их не было видно.

- Кто это? - В глазах Элли засеребрился шальной блеск сверхбдительности.

- Это мы у тебя должны спросить, - вновь начал язвить Иностранец.

- Тише, тише, вы слушайте, девушка по-моему тоже...

До нас доносилось: "Да ты знаешь, детка, кто дарил меня своей дружбой? Не знаешь... Он каждое лето в Чомбей приезжал, когда я, совсем еще недавно был там мэром. Сам Иосиф Кобзон..."

- А, брось, Тюня, заливать, - отвечал мелодичный голосок. Мелодичный, но твердый. - Я понимаю, ты переживаешь. Но нельзя же настолько углубляться в себя.

- Ты не веришь, что Кобзон...

- Да нет, Тюня. Я о другом. Ты когда мэром-то был, а?

Иностранец посмотрел на меня и тихо засмеялся: "Да, во всем должна быть мера. Я, как ты понимаешь, тоже насчет мэра".

Мы уже не сомневались, за колонной сидели знакомые нам люди. С одним из них, Степаном Ивановичем Копыловым, не так давно встречались в Чомбее, а вот девушка... С девушкой сложнее. Марфиньку я не видел года два, столько же и Иностранец. Но как они здесь оказались?

Мы целенаправленно замолчали, и тут же услышали: "Ты, детка, зарываешься..."

- Тюня, - был ответ Марфиньки Копылову, - вспомни недалекое прошлое. Вспомни, как мы сюда попали, и что с тобой чуть не случилось по дороге...

Тут над нашим столиком появилось что-то захватывающее. Это захватывающее захватило нас, и мы испытали небольшие, но пронзительные перегрузки.

Сверкнуло острой бритвой по глазам: свет ни свет, огонь ни огонь, молния ни молния... Словом, это было какое-то сверхестественное явление, на миг вырвавшееся из своей сверхестественной среды, и пронесшееся над нами, подавляя и грозя табличкой "Совершенно'секретно". Табличка - единственное, что мы видели наяву. Все остальное просто (скорее, не просто) узнали.

Явление исчезло, улетело, а мы сидели, подавленные перегрузками, и ошеломленные тем, что узнали. Потом - все трое - переглянулись. Стало ясно, что втроем пережили невероятное. Не впервой, но все же.

\*\*\*

Вот что случилось с Копыловым по дороге из Чомбея в Бухту.

... Степан Иванович почувствовал, что надвигаются события. Ему, как человеку и лицу, регулирующему торговые отношения в Чомбее, это было не по душе. Он еще не знал, что случится, откуда эти события идут грозным фронтом, и когда соберется гроза, но он их чувствовал, а этого опытному в жизни Копылову было вполне достаточно.

Вечерком он вышел из конторы своей базы и пошел куда глаза глядят. Глаза из-за мощного тока мыслей были почти незрячими, но ноги привели на лодочную станцию. Там скучала Марфинька.

"Детка, дорогая, а не пора ли нам, пора, - зажужжал Копылов, - я уже и фамилию с отчеством поменял, теперь зови меня Степан Батаевич Особый, а Чомбей давит, давно уже не путешествовали, и че мы сюда все время возвращаемся, ума не приложу, да пропади он пропадом, этот Чомбей, ведь не ворую же я, как банальный вор, я комбинирую, чтобы, между прочим, у самих чомбейцев было больше хороших товаров, но все равно ведь посадят, жужжал он, а Марфинька глядела на него и улыбалась, ясно было, что она и так все наперед знает, а Копылов-Особый все это говорит только для самого себя, любимого, и все же она не прерывала его, и он продолжал жужжать, что "нигде,

черти, не понимают, ни в руководящем деле, ни в науке, ни , вот теперь, в торговле, его передовых взглядов и методов, в сущности, только из-за этого он и стал таким бездуховным, а охота к перемене мест, о, это великая вещь, хотя годы уже не те, и болезни..."

А Марфинька тут в первый раз отомкнула свой изящный ротик и удачно, но несколько обидно для Копылова-Особого, вставила, что он всю жизнь болеет одной болезнью - неправильным обменом вещей, а Степан Батаевич, распаленный, не понял шутки и уточнил: веществ? А Марфинька, смеясь, гнула свое - вещей, и еще прибавила, что он только в последнее время перестал изнемогать без власти, а раньше, еще совсем недавно, у него это было как изжога, тут Степан Иванович-Батаевич попробовал обидеться, но Марфинька ласково погладила его по плечу, и сказала: "Ничего, Тюня, неприятность эту мы переживем", и Копылов успокоился, так как знал, что самый надежный человек на свете, это Марфинька.

Такую она ему дала кличку - Тюнер, из области бытовой радиоэлектроники.

А мы с Иностранцем еще в школе звали ее Малышка, потому что уже тогда она была головы на полторы выше нас.

Мы знали друг друга очень хорошо. Марфинька-Малышка была нашей подружкой и соседкой, а Копылов - другом моего отца еще с фронта.

Были годы, когда мы виделись каждый день. Но, правда, я, Марфинька и Иностранец, тогда мало еще что понимали. Больше воспринимали.

... Тюня попытался было еще немного пожужжать: "устал получать в приказах одни неблагодарности", но Марфинька посмотрела на него взглядом оценщицы из комиссии, и он замолчал. Они, не заходя домой, пересекли Чомбей, дело недолгое, перешли колею заброшенной железной дороги, поднялись на голец. Молча присели на пенек - по русскому обычаю. Марфинька встала первой, и сказала: "Ну, что, благословясь..."

- Чего, чего? - насмешливо протянул Копылов - Особый.

- Шучу, Тюня, это присловие такое.

- Погоди немного, Марфинька. Ты что-нибудь помнишь о тех временах, когда по этим рельсам еще ходил "Маракас"?

- Я, Степан Иванович, все помню. Я даже помню каким ты тогда был...

- Марфа, ну что ты несешь, ты ж тогда еще ребенком была...

Марфа молча смотрела на него. Он смутился.

- А что... Человек проходит большой жизненный путь, и без ошибок не обойтись. Я, между прочим, до Чомбея на войне был, и в рукопашную ходил, это что тебе, со счета это ведь не сбросишь... Да не смотри ты. Когда ты так смотришь, я всегда чувствую, что растерял нравственные ориентиры. Ношусь по океану жизни без компаса, а это недопустимо в моем возрасте...

- Тюня, а чего это от тебя спиртом несет, выпил что ли с горя? По поводу утери ориентиров...

- Ты, Марфа, с этим не шути. Это святое. А спирт я не пил. Решил теперь после бритья кожу протирать.

- А, ну да, ну да. Ты же недавно прочел «Острова в океане»? Только, пожалуйста, дыши в сторону...

- Да говорю тебе, не пил...

- Прокурору, Тюня, говорить будешь. Шучу. Полетели...

Степан Иванович тоже встал и подошел к Марфиньке.

Он трусил.

- Марфинька, а если с самолетом... Ну, если прямо по курсу самолет, струей нас не сшибет?

- Однова живем...

- Марфа! Брось эти штучки. Тебе что, а я точно грохнусь, и костей не соберешь.

- Мне - тоже самое.

- Рассказывай, рассказывай, дефективная. Тебе-то ничего не будет...

- Тюня, ты остаешься?

- Ни боже мой...

Они взлетели на обыкновенном помеле. О таком помеле каждый из нас слышал еще в детстве, но никому не довелось увидеть. Никому, кроме них...

Они набрали высоту, взлет был вертикальным, и понеслись...

- А как ты дорогу узнаешь? - Спросил Марфиньку Копылов.

- У меня, Тюня, есть ориентиры.

- Ох, Марфа, не доведет тебя до хорошего такая жизнь. Молодая, красивая, умная, необыкновенная, у тебя же такие возможности, выше, чем у всего среднего человечества, - он постучал по кожаному седлу, в котором удобно устроился. - А ты вот на помеле со старым селадонном... Да если по-доброму-то, мы с тобой можем такую человеческую комедь сыграть, что швейцарские банки в один секунд опустеют.

- Замолчи, убогий.

По голосу Марфиньки он понял, что надо слушаться. Настал такой момент.

Копылов эти моменты, когда с ним переставали шутить, нутром чуял.

И он замолчал.

Вниз Степан Иванович смотреть боялся. Его можно было понять, и скорость, и высота, были приличными даже по нынешним меркам.

А Марфинька иногда смотрела. Ей это все нипочем. В последний раз мелькнула заброшенная узкоколейка, о которой говорил Копылов...

Когда-то она связывала Чомбей с приисками. Ходил по ней небольшой паровозик, который шахтеры почему-то звали Маракас. Теперь уже никто не может объяснить, почему. Несколько вагонов с деревянными лавками из гладких полированных-лакированных брусков. Звонкий гудок паровозика. И мелькают за окном: Кяхта, Балахна, Васильевск, Апрельск, Осенний...

На прииске Осеннем Копылов спас Марфиньку. То есть, не совсем Марфиньку, а тетю Таню, ее мать, Ну и Марфиньку заодно... Тьфу, черт, с ума можно сойти, если попытаться пересказать эту историю коротко.

Степан Иванович был тогда главным механиком прииска, а тетя Таня заведовала всей бухгалтерией. Они были совсем молодыми, бойкими, заводными и оптимистичными. Уже несколько лет прошло, как закончилась война, жизнь помаленьку наладилась, работы было много, но это их вполне устраивало. От работы они не уставали, и чтобы не происходило с производственным планом, редко раздражались. Это была та самая жизнь, о которой они теперь говорят: наши лучшие годы. Часто приходилось мотаться на шахты. Степан Иванович брал на приисковой конюшне гнедого, не помню теперь, как его звали, сам запрягал коня в бесподобную двухместную кошевку, и лихо подкатывал к управлению. Выходила тетя Таня в роскошном пальто с беличьим воротником, с клеенчатой черной сумкой на руке, садилась в карету, а муж ее, дядя Гриша, смотрел в окно и посмеивался.

Без комплексов одно время жили.

Бывало, встречалась на дороге серая колонна заключенных. Их в те годы еще много было в наших краях! Так много, что когда объявили шумную амнистию пятидесятых, несколько приисков оказались в осаде. Пропавшая братва с ходу взяла магазины, накачалась водкой, и им все было нипочем. В том числе и человеческая жизнь.

То, что произошло с Копыловым и матерью Марфиньки, сегодня воспринимается за пределами человеческого и разумного. А ведь было...

Они ехали, болтали, потом догнали бесконечную ленту-колонну, придержали своего гнедого, и кошевка медленно поползла по обочине.

Надо сказать, что оба хоть и старались не обращать внимания на идущих параллельно с ними людей в куцах ватниках, это, конечно, не получалось. Старались разговаривать о своем, а сами, нет-нет, да и ловили их взгляды: злобные, грустные, отчаянные и отчаявшиеся. Трудно сказать, что чувствовала в эти минуты колонна. Копылову и тете Тане было не по себе. Наверное, не надо объяснять, почему.

Произошло же, собственно, вот что. В тот день тетя Таня взяла вожжи в свои руки, и была в кошевке за возницу. Поравнявшись с зеками, оказалась с их стороны. Дороги у нас узкие, обрамленные высокими снежными сугробами, за которыми - глубокая белая целина. Почти впритык друг к другу двигались они. Раньше, когда правил Копылов, опасности вроде не было. Разве что какой-нибудь псих рядом окажется. Но так ведь и кирпич с крыши на голову может упасть. Волков бояться... А сейчас они почувствовали что-то не то. И пока про себя оценивали, прикидывали возможную неприятность, она случилась. Кошевка, хоть и медленно, продвинулась по ходу колонны на полкилометра. Расстояние от автоматчика до автоматчика - сто пятьдесят метров. И когда они оказались между двумя охранниками на равном удалении, из колонны выскочила пара цепких рук, схватила тетю Таню за плечи, и потянула к себе.

Это был почти конец. Если бы женщина попала вглубь колонны, то никакие выстрелы уже не помогли ей.

Несколько минут, а потом на обочину бы выбросили-вытолкнули труп.

Степан Иванович, хвала ему и честь за это пожизненные, не растерялся. Он даже сообразил в доли секунды, что если ухватит тетю Таню за катанки, то больше живой не увидит никогда. Он успел перехватить ноги в коленках, и дико закричал. А тетя Таня - вот дела! - молчала. Руки у зеков, (теперь ее тянули уже двое) соскальзывали с гладкого ворса пальто, а потом они понимали, что еще секунда-две, и их разрежет автоматная очередь, а это тоже играло свою роль, они тянули крепко, но и так же крепко мешали друг другу, а когда тетю Таню схватил за воротник третий зек, то воротник треснул, оторвался, это на какое-то мгновение отвлекло их, а тут показался охранник, палящий пока в воздух. Зеки отпустили несостоявшуюся жертву, и растворились в родной массе.

Колонна молча двигалась под редким январским снежком; казалось, что ничего и не произошло. Через шесть месяцев после жутковатого события родилась Марфинька. Людей, знающих о нем, очень мало. По пальцам считаю: я, Иностранец, наши родители, ну и, конечно, родители Марфиньки с Копыловым. Мы молчим. И не было ни единого "предупреждения": "Ты только Марфиньке..." Как-то все само собой выходит.

Так, разве что мелочи разные бросались нам в глаза. Еще в пору безмятежного детства. Ну, например, Марфинька до исступления, до обморока, боялась (не знаю, сейчас, может, и прошло) пенья петухов.

Но какие, простите меня, в Чомбее петухи? Эта глупая птица у нас и не водится почти. Или вот еще - беспроегрышно играла в чикку. То есть настолько беспроегрышно, что даже представить себе трудно. И это нельзя назвать везением, или, там, особой меткостью. Знаете, как говорят: талант, сверхзоркость, от бога, дескать.

Нет, тут что-то другое было. Неизвестно от кого.

Заставь Марфиньку повернуться спиной к кону из расплюснутых свинцовой шайбой медяков, все равно она в него попадет. Мы проверяли, все без обмана, глаза даже завязывали при этом: отворачивается, кидает, сбивает. Пацаны, естественно, тырили ее за это, мы с Иностранцем заступались, били и нас.

И все же эта неспособность бросить шайбу мимо кона... Нет, ну и что из того... абсолютно это ничего не значит.

- Смотри, Тюня, знакомые в небе, - защебетала Марфинька. Настроение у нее было прекрасное. Любит она полетать.

- Где?

- Да вон, справа, чуть ниже нас...

- Я вниз не смотрю. Принципиально;

- Ладно, сейчас сбросим высоту. Теперь видишь?

- Хо, хо, хо дак это же...

Ан-2, шедший параллельным курсом с Марфинькой и Копыловым, вел Саша Севастьяненко. Он сидел в родном кресле второго пилота, пел песенку, и думал горькую думу. Ему нравилось быть

вторым. Но вот уже десять лет подряд его преследовали за это. В авиации положено стремиться в кресло первого. А у них, как в армии: раз положено, значит вынь да положь...

В салоне отдыхал от штурвала его командир Агей Островский, рядом сидели Юрка Ронженин, возвращавшийся на свой золотиносный участок, и столичный скульптор Федя Грибов, летящий создавать образы старателей.

Федя маялся от неизвестности, задавал Юрке Ронженину дикие вопросы, чувствовал их глупость, но ничего с собой поделывать не мог. Юрка Ронженин шарахался поначалу от него, как лошадь от медведя, потом привык, а затем уж и заскучал.

- А пиво вам на участок завозят? - Отдохнув от очередной свой ахинеи, и помолчав, не отрываясь от иллюминатора, спрашивал художник.

- Завозят, завозят...

- "Родербергер" бывает? - Вздрагивал от самого себя Федя. Ему уже хотелось побыстрее вернуться в уютную мастерскую и продолжить работу над привычным и нетленным. Пропади она, эта тайга со старателями. Несерьезно все это.

- Бывает, бывает... Подожди-ка, Федя, подожди-ка Федя... Ой, да что ж это такое...

Агей Островский, молча слушавший их, вдруг вскочил, и рванул в пилотскую. За ним и бравый старатель.

Юрку Ронженина и Агея Островского вывели из дремоты Марфинька с Копыловым. Прекрасно зная, что те их не видят, и вряд ли увидят, решили устроить соревнование в скорости.

- Наддай, Марфа. Какой русский... Э, ты только не вилай, по прямой чеши. Докажем им, что наша сила сильнее любой другой,- рвал горло Степан Иванович.

- Тюня, будешь так орать, уйду в другой коридор. Поменьше эмоций, куда им до нас...

- Хо, хо, хо, это вам не на моторках по Кетчиму гонять, - Копылов слышал только себя. Он был в обиде на ребят за несколько безобидных розыгрышей, устроенных ему на реке. Ясное дело, что сейчас Тюня упивался своей мощью. Если, конечно, то чем обладает Марфинька, можно назвать мощью. Тут, кажется нужны другие слова. Их лучше узнавать у самой Марфиньки...

- Давай, Марфуша, - продолжал орать Степан Иванович.

А в кабине самолета творилось что-то несусветное. Агей Островский и Сашка Севастьяненко выжимали из старенькой "Аннушки" последние капли, а Юрка Ронженин, вцепившись побелевшими пальцами в спинку кресла первого пилота, орал практически то же самое, что и Копылов: "Ох, наддайте, родимые... та что вы, голуби, вашу мать, слабосильные такие, ох, быстрее, ребяташки, гони изо всей мочи."

Потом он враз отпустил кресло, сказал: "Шишкарки вы разноцветные, а не пилоты. И телегу вашу за шасси, да об забор надо бы шарахнуть", и ушел в салон. Сел, посидел, расслабился, и только потом удивленно посмотрел на Федю Грибова: "Слушай, малыш, а че это мы как с цепи сорвались? Куда гнали-то? А, главное, зачем?"

- Не знаю,- ответил напуганный их необъяснимым порывом скульптор. Он и правда не знал, поскольку в гонке не участвовал.

- Да, дела. Приеду Симке и Максимке расскажу.

Из кабины вышел Сашка Севастьяненко, удивленный не меньше, Юрки Ронженина.

- Чтой-то в голову ударило, а? Никогда еще такого азарта не испытывал. Прямо не полет, а модель нашей быстро текущей жизни.

- Это почему?

- А все как в жизни. Точь в точь. Побыстрее свой минимум налетаешь, потом с начальством поладишь, глядишь, быстрее всех в дамки выскочишь.

- В дамки?

- Ну, командиром станешь, А ежели ты не хочешь участвовать в соревновании? Нет, куда там. Не умеешь, научим, не хочешь, заставим...

- Тьфу, черт, кто про что, а вшивый про баню. Пить меньше надо, вот и вся модель тут,- любой посторонний понял бы, что Юрке Ронженину давно надоели однообразные рассуждения второго пилота. Они часто летают вместе. Да и не только летают...

- Ну, это тебе надо меньше. А я-то с чего за сектор газа как бешеный хватался?

- Мне меньше? Так, понимаю, меньше, чем тебе. Мы ведь, батенька, хоть и выпиваем иногда, а закусывать не забываем. А потому, наверное, и обо всем другом помним.

- Ах, ты боже мой, какие мы феномены. И что же это вы, такое помните, поведайте, расскажите, сделайте милость...

- Конечно, поведаю. У тебя-то наверняка провал. Могу, к примеру, рассказать, как третьего дня наблюдал натуральный морской бой в акватории Кетчимской лодочной станции...

- Постой, постой, - пугливо закричал Сашка Севастьяненко, - тебя же там не было, я точно помню.

- Помню,.. Меня не было, пока вы еще ощущали себя скромным пилотом Чомбейского авиаотряда. А когда я появился, к вам надо было уже обращаться с приставкой сэр и немедленно отдавать честь. Так что, вряд ли ты меня заметил...

- Ну и чо? - Видно было, что Сашка Севастьяненко стесняется Федю. Но интерес к морскому бою пересилил остальные чувства.

- Ничо особенного. Завел "Вихрь" , выехал на середину Кэтчима, и начал закладывать виражи. При этом орал, что ты торпедоносец.

- Так, так, так, - забарабанил "Турецкий марш" Сашка Севастьяненко.

- Потом, как на грех, появился Копылов на своей "Казанке". Тут ты действительно вспомнил, что имеешь отношение к авиации, и в один момент принял решение - таранить. Другого выхода , кричал нам на берег, у тебя нет, и ты обязан навести порядок в нейтральных водах.

- Так я же его...

- Слава богу. Степан Иванович сразу все понял, мужик-то головастый, прыгнул и поплыл.

- А я?

- А ты... Ты тоже прыгнул. И за ним поплыл.

- Догнал?

- Не знаю. Меня на этом месте Симка домой повела. Вот она, модель жизни-то.

- Да брось ты. Блажь все это, а не жизнь, - сказал Сашка Севастьяненко и опять начал нервно отстукивать такты "Турецкого марша". Скульптор Федя Грибов, давно с интересом наблюдавший за его пальцами, придвинулся к пилоту почти вплотную. Гул мотора мешал ему, он долго прислушивался, а потом спросил: "Вы тоже слушаете передачу "Искусство сегодня? " По "Голосу Америки"..."

- Што-о-о-о? - Сашка аж привстал.

- Заставка... Музыкальная заставка к этой передаче... Вы вот сейчас стучали...

- Я... Стучал..., - Сашка дико посмотрел сначала на скульптора, потом на золотоискателя, молча встал и быстро ушел в кабину. На свое рабочее место.

- Те че, малыш? Че людей-то пугаешь? Это ведь рондо из сонаты Моцарта, а не только заставка... - хохотал Юрка Ронженин, а Федя Грибов уже почти плакал.

Тут я, как беспристрастный летописец, замечу, что весь разговор Юрка Ронженин провел на русском языке. Что ж, это только лишний раз доказывает неповторимость момента, волнение старателя, пилотов, да и скульптора тоже.

А Копылов с Марфинькой и не подозревали, какую кучу разоблачений вызвала их выходка. Они давным-давно обогнали самолет, и уже пересекали границу дня и ночи.

О, эта граница... Солнце поднимается над облаками, и если смотреть на них сверху, то ее можно определить так: снежный горизонт прочерчен, взрезан, распорот по шву, тончайшей лазерной багровой линией.

День кончился. Наступил спокойный летний вечер.

- Я, пожалуй, сосну. Ты гляди в оба, Марфинька.

- Спи. Только пристегнуться не забудь.



Что Степан Иванович и сделал. Он так же любил спать, как Марфинька летать. Но в этот раз дремал недолго, часа через два Марфинька почуяла резкий запах спирта, и недовольно отпрянула: "Ты что там, бреешься, что ли?"

- А как же , детка. Джентльмен и в небе должен оставаться джентльменом. Скоро прилетим, там люди, не могу же я появиться небритым. Общество, детка...

- Да ладно, ладно. Брейся на здоровье.

Прошу простить за небольшое отступление. Для полного с вами, взаимопонимания, читатель.

Должен (обязан ) сообщить, что Марфинька верила Копылову. Он, конечно, не ангел, и даже отнюдь не ангел, какой уж там к черту ангел, но ей старался не врать. Инстинкт самосохранения иногда влияет и на мораль.

И сейчас Степан Иванович отстегнул фирменный ремень безопасности, аккуратно, насколько это было возможно, побрился безопасной бритвой с лезвием «Жиллет» на сухую, достал из нагрудного кармана блестящую изящную самодельную жестяную флягу, плеснул спирт сначала в ладонку, а потом и на скрипящие от жесткого бритья скулы...

И все.

Они летели с Севера на Север. Мелькала внизу теплые огни поселков, городов и деревень.

Ориентиры Марфиньки, по секрету скажу я вам. Спокойно сидел на своем месте Степан Иванович Копылов. Было покойно, как говорили старинные люди, и Марфиньке. Что бы с ними не случилось, какие бы неожиданности не караулили их в дальнейшем, эти чуть-чуть (ну самую малость) загадочные огоньки успокаивали. Огоньки подмигивали: «Вы дома. А дома все же любая беда, не такая уж и беда».

Так, неприятность.

Во всяком случае одни в это верят, другие уже нет, но верить хотят все.

А потом Копылову, как всякому долголетящему пассажиру, надоело молчать. Что бы сделал на его месте любой из нас, если под рукой нет ни газет, ни журналов, ни настольных игр? А даже если бы и были, все равно не считаешь, и не играешь. И Марфинька в полете, сиди смирно, не отвлекай, подумай о чем-нибудь серьезном...

Конечно, запел бы.

Копылов сначала потихоньку, а потом все громче и громче начал петь "Паренька". "Эх, ты, парень, паренек..." Эту песню он пел еще тогда, когда только приехал в Чомбей и встречался с моими родителями в гостях у родителей Марфиньки! Они хорошо умели проводить свои вечера. Лично я их вспоминаю с удовольствием.

- Помолчи, Тюня, - довольно спокойно сказала Марфинька.

Но Степан Иванович все равно обиделся. Он для порядка помолчал, а потом заорал ерническим голосом, да так, что Марфинька вздрогнула: "Дамы, дамы, ни вертите задом..."

Ну, она и вильнула как раз этим самым местом! Нарочно, конечно. Степан Иванович мелькнул ногами в "Саламандрах", и полетел вниз. Марфинька резко остановила свой аппарат, поднырнула под терпящего бедствие, и он плюхнулся в свое кожаное сиденье.

Испугаться в падении, в парящем полете, Копылов не успел. Зато вдоволь напугался уже в кресле. Но все молча. И лишь через некоторое время срывающимся голосом спросил: "Что ж теперь и сидеть, как идиоту последнему?..

Марфинька и сама чувствовала, что переборщила. Возраст у мужика не тот, чтоб такие шутки шутить. Но вслух жалеть Марфинька не умела. Сказала лишь: "Можешь музыку послушать..."

Степан Иванович кое-как пришел в себя. Проверил, на месте ли фляжка (слава Богу), потом повернул по часовой стрелке пуговичку-верньер , белеющую в темноте на спине Марфиньки, порыскал в вольном эфире и поймал...

... Это была та самая загадочная мелодия, которую слышали мы перед посадкой в Бухте.

Они подлетели.

Никто их за это время так и не увидел.

Только один-единственный человек...

Да, Марфиньку и Копылова сумел "засечь", узреть и увидеть, при помощи своего мощнейшего (один из самых сильных в Европе, ... кратное увеличение) телескопа сотрудник Тиктикской обсерватории, житель поселка "Гипотетический", доктор физико-математических наук Евгений Николаевич Жаркой. Он посмотрел на странную парочку, посмотрел, глазам своим, конечно, не поверил, плюнул на решетчатый пол телескопной башни, и сказал: "Во пля!" Фраза была уникальной для Жаркого. Раньше ему приходилось ее лишь слышать, и то не часто.

На снимках они, как и предполагал астроном, не проявились. Ещё с час Евгений Николаевич ломал голову над непонятным явлением природы: "рефракция, галлюцинация, игра солнечных лучей..." Тут Жарков вскакивал, бил себя по лбу, а потом опять садился, и тихо (в смысле – уже смиренно) думал: "Боже... игра солнечных лучей... ночью"...

Но все это было несерьезно, так, ну, просто так. Игра ума и прихоть ученого. Он понимал, что ничего, в сущности, не видел, и видеть не мог.

- Ну даже если допустить, да, да, даже если допустить, что было что-то, - рассуждал Жаркой как настоящий и пытливый исследователь непознанного, - все равно это явление чисто прикладного характера. Не могут же они повлиять на основы, на фундамент. Нет, этого лично я себе позволить не могу. В конце концов, мой удел - теория...

В этом месте он подумал о том, о чем думал всегда. Как энергию звезд поставить на службу человечеству.

А то какие-то НЛОВцы, черт-те что, и сбоку бантик, ясно, что локальная проблема, если она и существует...

Вот так он разговаривал сам с собой. А потом позвонили и сказали, что как профорг Отдела физики звезд, он должен немедленно явиться в продмаг, и начать распределение сгущенки среди сотрудников Отдела. В этой суматохе Жаркой забыл о Марфиньке и Копылове, и больше уже никогда не вспоминал. Навсегда забыл.

Я считаю правильно сделал. А то ведь так и свихнуться недолго.

- Ты как думаешь? - Спросил я у Элли.

- Что, чего? - Заблудившимся взглядом повел тот.

- Да, верно, верно. Жалко было бы парня, - сказал за него Иностранец.

- Конечно, - наконец "вернулся" к нам и Элли, - свихнуться может быть не свихнулся, а с телескопа точно бы поперли.

- Все, мужики. Я теперь уже кроме как пожрать ничего, не хочу.

Мы еще раз чокнулись малюсенькими коньячными рюмками с "Окейей": «За встречу, господа гардемарины», и тут же навалились на оленину, по мнению Иностранца приготовленную по-эльзасски. Выдумает же, черт эдакий. Я вспомнил, как недавно в Город из Якутии приехал наш товарищ, Гриша Кудряшов. Дела сделали, к вечеру повели питаться. Гриша говорит, привык к натуральному мясу, вообще, ко всему натуральному, туда, в натуру, и ведите. Мы с Иностранцем подумали, посоветовались, остановились на "Загородном", это он только так называется, "Загородный", а на самом деле недалеко от центра, и там все из дичи, надо думать, натуральной. Пришли, сели как люди, ресторан стилизованный, весь из дерева, изнутри и снаружи, еще беседки летние есть, а все равно, как ни крути, напоминает мне Бухтинскую гауптвахту, чего-то дизайнеры явно не додумали, не дотянули, ну да бог с ними, нам поговорить, пообщаться, а интерьер мы в гробу видели, внимания не обращаем, так вот, сели, заказывать пришла пора, Гриша говорит официанту: "Оленина есть?", а тот надменно улыбается: "У нас как в Греции", и наверняка думает, что это фраза из анекдота, который он просто забыл, ну да дело не в нем, хотя и в нем тоже, принесли оленину, мы попробовали, матушка моя, как будто ржавый железный рельс жуешь, такое ощущение, а Гришка эдак со знанием дела: "Мужики, не повезло, ездовой олень попался, жилистый, значит". Мы с Иностранцем переглянулись, но от смеха удержались, это же надо, посреди Города, мегаполиса в чистом виде, некоторые жители которого всерьез полагают, что олени - это почти что лошади Пржевальского, нам попался именно ездовой. Судьба, как говорится, шельму метит. Мы позвали официанта, рассказали в чем дело, и спросили себе изюбра в горшочках, а парень в бабочке

на полном серьезе нам говорит: "Ребята, изюбра не советую, он сегодня с душком", и тут уж мы все трое не выдержали и расхохотались, до слез и до упаду, мы хохотали, а он смотрит на нас недоумевающе, и его, прошу прощения, рожка, чуть не лопалась от мягких оленей и свежих изюбрей, съеденных им накануне, и еще раньше, но психологию немного подраскусил. Все вежливо, доверительно, "только для вас!"...

Здесь в Бухте вообще, и в "Огнях Колымы", в частности, с этим как-то полегче. Здесь и оленина нормальная, и рож таких я что-то не замечал.

- А чего, - рассказывал Элли, - остался я тогда на сверхсрочную - не пожалел. Во-первых, дело нравится, во-вторых, денюжат вволю, в Бухте коэффициент, сам знаешь, двойной, два оклада сразу, за звездочки, питание и обмундирование бесплатное, посчитай, сколько выходит.

- Да ладно тебе, Элли. Тоже мне, миллионер нашелся...

- Это я так...,- смутился Элли, - всё спрашивают, вот по привычке и завел тягомотину...

- Правый не оправдывается.

- Понял уже, не дави. Сейчас вот хожу оперативным дежурным на КП. Училище заочно отдолбил, теперь вот лейтенант. А помощником на смену знаешь кто со мной ходит? Ни в жисть не догадаешься. Прапорщик Витька Салахов. Да, да, тоже "куском" стал, из пехоты к нам перешел...

- А чо же ты его сегодня не позвал?

- Он в отпуске. Полез, понимаешь, на крышу телевизионную антенну направить, с крыши, конечно, упал, сломал ногу. Ну, че делать... Взял незапланированный отпуск, уехал к себе во Владик, а уж там, пишет, ветрянкой заболел...

- В общем, с ним все в порядке.

- Более или менее, - Элли тут устался в какую-то точку на столе, и спросил осторожно, - слышь, мужики, неладно как-то получается. Вы же знакомые, столько не виделись, надо позвать их к нам...

- О, за этим дело не станет, - ответил ему Иностранец, -и я удивляюсь, как это он до сих пор нас не учуял. Сдает Иванович-Батаевич...

Не хватало, видимо, именно этой фразы Иностранца. Через секунду после нее из-за колонны появился Копылов, неторопливым шагом направился к нам, и еще издали начал свой "полет шмеля": "Какие люди, - вибрировал он, - это не люди, а железобетонные конструкции. Вы поверите - недавно отказались от "Адидаса". Нет, послушайте, что я вам скажу, молодой человек (это он Элли), свои же мальчишки, я их вот с таких лет, и от чистого сердца дарил, ведь дарил, и никак иначе, а не взяли..." Не задержалась и Марфинька. Она подошла, очень миленько нам улыбнулась, молча села, а Элли, тот аж засветился изнутри красным цветом, с головы до ног, мы испугались, как бы не перегорел. Марфинька ласково хлопнула его ладошкой по нервно сжатому огромному кулаку, но ничего не сказала...

Ах, Малышка, Малышка... И чего бы тебе все время с нами не быть! Но нет. Одинокая птица. Вот только Копылова выведет из его очередного жизненного пике, и опять одна останется.

Между прочим, участвовала во всех мальчишеских рейдах. И печки мы взрывали втроем.

Марфинька и Иностранец.

Печки, это, конечно, отдельный период нашей жизни. Навсегда запомнился.

Все было просто, а потому гениально (нам так казалось).

\*\*\*

В Чомбее иным декабрем мороз до шестидесяти градусов доходит. Ну, ей богу не вру, несколько раз шестьдесят один был. А минус шестьдесят один по Цельсию - это, простите, минус шестьдесят один. Даже для Чомбея, привыкшего к своей резко континентальной зиме, чересчур. Но, как обычно, сыграл свою роль стереотип мышления. Сам слышал в половине восьмого утра, когда еще потягивался и соображал, куда вчера засунул валенки, как по местному радио объявили: "школьникам с первого по восьмой класс рекомендуем остаться сегодня дома". Я тогда учился в седьмом, соответственно и Иностранец, а Марфинька в шестом. Слышать-то слышал, но продолжал

искать валенки. А мама с папой, так те вообще ухом не повели. Ни одним из четырех, хотя тоже слышали.

И так весь Чомбей. Хоть бы кто-нибудь из "первого по восьмой класс" остался дома.

У нас, слава тебе господи, не то что в Бухте. Вышел на дорогу к родной школе, мороз кожу щиплет, дышать непросто, мороз обжигает, зато - ни ветерка, и даже намек нет на присутствие в воздухе какой-либо влаги. Потому, хоть и не по человечески холодно, а все равно чувствуешь себя прекрасно. Главное, не стоять на месте.

Ну, нам в те годы на месте не стоялось. Оголтелые были ребятишки в смысле телодвижений. И на таком морозе тоже. И нипочем нам были эти минус шестьдесят один по Цельсию. Неясные томления облекла в слова смышленная Марфа. Ещё по дороге, а мы заходили друг за дружкой, и втроем путешествовали, предложила куда-нибудь смотаться. А на уроки можно не ходить совершенно официально - по радио не рекомендовали.

Но куда мотаться, если школьный двор уже вот он, рукой подать, а там короб с ледяной площадкой. Хоккей был тогда для нас и досугом, и панацеей от всех бед, и средством самоутверждения личности (я и до сих пор считаю этот способ самым оптимальным. Но... Впрочем, вы поняли).

Марфинька самовыражалась на воротах, Иностранец в нападении, я в защите по левому краю. Уже через полчаса про мороз никто и не вспоминал, а настроение у нашей команда было гнусным.

Проигрывали параллельному седьмому "Б" четыре - два. В этот неподходящий момент на крыльцо школы вышел заинтригованный нашими криками Прокопий Гурьевич. Он ничем не выдал своего изумления. А удивляться было чему: наглость наша перешла границы и пределы. Придти в школу и гонять шайбу на виду у педколлектива, в то время как... это, знаете, ли... тут надо еще слова подобрать, чтобы все сказать, что думаешь.

Прокопий Гурьевич подобрал и сказал. Медленно сказал, сдерживал гнев и ярость, kloкотавшие в нем. На переговоры с Прокопией Гурьевичем выдвинули велеречивого Иностранца, который поступил очень просто: без комментариев, по памяти, процитировал ему объявление городского радиоузла. Тут-то и дали себя знать старые, фронтовые раны, контузия. Прокопий Гурьевич, не вступая в полемику, взял Иностранца за шиворот и поволок в учительскую, а нам глухим голосом скомандовал: "Марш на уроки".

Я уже говорил, что Прокопий Гурьевич не дипломат. В данном случае он просто спровоцировал нас на активные действия.

Печь в кабинете физики была что надо. Огромная, широкая, круглая, от пола до потолка обитая железом. В этот день, естественно, ее топили особенно рьяно, на всю, как говорится, катушку. Пришел, огорченный Прокопией Юрьевичем, Иностранец, скромно постучал, попросил разрешения сесть, и присел на "Камчатку", как раз возле нее. Наверное, жар чудо-печки повлиял на ход его мыслей, и печь перестала быть печью, а стала Карфагеном.

А придумал он вот что. В инструкции к сифону для газирования воды Иностранец вычитал, что его баллончики в определенных условиях могут взрываться. С тех пор он на всякий случай таскал с собой три штуки. И вот пришел и их черед доказать правдивость сказанного в этой памятке для рассеянных людей. На перемене мы вызвали Марфиньку и объяснили ей суть дела. Услышав взрыв, она должна "вырубить" электрорубильник кабинета физики, погрузив тем самым его в кромешную тьму (световой день в Чомбее перед Новым годом короток: 2-3 часа - полдень, полувечер, а потом опять ночь). Короче говоря, задача простенькая, как раз для шестиклассницы. Очередной урок по этой причине рекомендовали пропустить. Марфинька, так же, как и мы, очень возмущенная чинимым произволом, немедленно согласилась.

Ну, иначе и быть не могло.

Потом мы вернулись в свой кабинет, дождались звонка и Иностранец незаметно подбросил баллончики; в огнедышащее жерло чудо-печки. Минут через десять раздался "колоссальный" (как потом все говорили) взрыв, за ним второй, за вторым третий, и погас свет.

Несколько секунд в кабинете было тихо, ждали новых взрывов, а затем все повели себя по-разному. Иностранец сидел молча, гордо и отменно, я залез под парту, чтоб не угробили, Сашка

Севастьяненко продолжал мечтать, ничего не замечая; Юрка Ронженин комментировал происходящее по гречески... Кто-то заорал и испугался, но большинство заорало и обрадовалось. Ну и визг, гвалт, куча мала» обычное, в общем-то, дело. А потом случилось непоправимое: кто-то из огольцов принял учительницу Валентину Ивановну, женщину строгую и принципиальную, за одноклассницу. Тут даже живущие на Олимпе не выдержали. Природа содрогнулась и восстала, рубильник от греха подальше включился сам собой, и ток потек по шевелящимся от возмущения проводам. Свет загорелся, впереди маячил час расплаты.

Преступление было слишком вопиющим, чтобы остаться нераскрытым. Огольца не нашли, зато нас с Иностранцем взяли под стражу уже к концу уроков. Наябедничала, как всегда, Галя Хвощенко, девочка хорошенькая, но пустоватая. Сделала она это машинально, поэтому и смысла нет о ней дольше говорить. Наябедничала, ну и наябедничала, великое дело, не в первый, и не в последний раз.

Педсовет собрали в экстренном порядке утром следующего дня. Я, Марфинька и Иностранец стояли у дверей учительской и, глядя в пол, прикидывали размеры наказания. Учителя сначала делились впечатлениями, предавались воспоминаниям, вытаскивали на свет божий все истории, характеризующие нас, базарских, с отвратительной стороны. Потом, когда все исчерпали запас памяти, касающийся преступной троицы, наступило время подведения итога.

- Я предлагаю, - сказала прерывающимся от волнения голосом биологичка Евгения Николаевна, - я предлагаю...

Тут ей и вовсе горло перехватило, она нашла себе стакан воды, выпила, прокашлялась и предложила принять к нам исключительную меру социальной защиты - исключить из школы навсегда, и лишит тем самым всех прав и состояния. На нормальном языке это значит - всеобщего среднего образования.

- Хорошо, хорошо, - одобрительно покивал ей Прокопий Гурьевич, - еще, товарищи, у кого еще какие предложения есть?

Встал физрук и предложил исключить не навсегда, а на десять дней. Сердца наши замерли...

- Ну да, - все испортила преподавательница химии Нина Бертольдовна, - они у меня и так еле ползут, а через десять дней с этими пустые головами, я, клянусь семьей, уже не справлюсь.

Потом посыпалось: от колонии для несовершеннолетних до публичного покаяния на школьной линейке. Прокопий Гурьевич всем по-хорошему кивал, а затем поднял руку и учителя замолчали. Он взял телефонную трубку, попросил соединить его с каким-то ЖКО, спросил начальника, у того вымолил на десять дней печника, который, как мы поняли, может приходить в школу для восстановления печи лишь к трем часам дня. Такое впечатление, что все печки в Чомбее повзрывались...

- Значит так, - сказал директор, - сразу после уроков, каждый день, приходите в кабинет физики и помогаете печнику. Будете волынить - буду считать эту меру наказания недостаточной, и прибегну к более суровой. Получите за этот период хоть одну двойку - то же самое. А теперь вон отсюда и постарайтесь до лета не попадаться мне на глаза. В конце концов, не думаете о себе, подумайте, о моем здоровье...

В этом месте нас аж передернуло. Может, я мало слов сказал о директоре Чомбейской средней школы, но, кажется, достаточно для того, чтобы понять: дежурные учительские фразы в его устах это, граждане, кощунство. Впрочем, он редко такие фортели выкидывает. Все больше по-свойски...

Прокопий Гурьевич посмотрел на нас, усмехнулся, потом опять стал серьезным. "Все, товарищи, педсовет окончен. И извинитесь..."

Он показал глазами на Валентину Ивановну. Весь судный час она просидела молча и напряженно.

- Но это же не мы, - заканючил было Иностранец, но я и Марфинька быстро сделали ему "коробочку", благо он стоял в середине, и по очереди, совершенно искренне извинились перед педагогом и женщиной.

Ну а бывший танкист, доложу я вам, не зря ест учительский хлеб. Совсем не зря.

Когда в школу пришел печник Алексей Егорович, директор сначала позвал его к себе и о чем-то долго говорил. Нам об этом сообщили верные люди. Потом мастеровой человек прошествовал (именно так, гордо и независимо, иначе не скажешь) в кабинет физики, уже насквозь промерзший, а мы, как только закончился последний урок, отнюдь не сгорая от любопытства, пришли туда вслед за ним.

Дальше было очень интересно.

Сначала Алексей Егорович нам не понравился. Он завел совершенно дурацкий разговор, о том, что жизнь прожить - не поле перейти, потом с ходу перескочил на, видимо, еще более актуальную для него тему о девичьей гордости и чести, обращая все время к Марфиньке, я и Иностранец по обыкновению, за подружку заступились, резонно заметив печнику, что Марфиньке рано еще о таких вещах думать, а Алексей Егорович возразил нам на это как-то странно: лучше рано, чем никогда, наверное, поговорку перепутал, но мы промолчали, потому как вдруг не перепутал, а специально сказал, тогда получается, что мы его морально травмируем, а мы себе дали зарок после взрывов, никого в жизни больше морально не травмировать, и доказать всему миру, что базарские порядочные люди, и доказываем до сих пор, а Алексей Егорович, по всей видимости, оценив нашу тактичность, работал дальше молча, мы ему помогали, размешивали глину, учились колоть кирпичи, класть кладку, цементный раствор готовить, а потом, когда дело дошло до секретов мастерства, то бишь до дымохода, как-то так получилось, что Алексей Егорович нам начал читать лекции, как этот дымоход лучше сложить, и было, честное слово, весьма занятно, так неохотно признался Иностранец, во всяком случае, мне точно, да и Марфиньке, кажется, тоже, один Иностранец вел себя индифферентно, но прилично, помогая и помалкивая, и мастер все понял, и больше не предлагал нам прожить жизнь и перейти поле, и о девичьей гордости и чести больше не вспоминал, в основном по делу разговаривали, он нам истории из прошлого рассказывал, мы ему - из настоящего, иногда и о будущем трепались, а печь постепенно становилась все монументальнее, обширней и солидней прежней. Но, черт возьми, пока ее клали, не верилось, что что-то сложенное нашими беспомощными руками вдруг начнет действовать, так и казалось, что те места, которые нам доверял Егорыч, задымят, зашипят, забуксуют, или, чего доброго, опять взорвутся, а Егорыч на этот счет только улыбался, и делал вид, что не замечает, как мы с Иностранцем таскаем у него "Прибой", были такие папиросы, тонкие и вредные, а один раз даже угостил - о, видела бы это Евгения Николаевна, пришлось бы тогда нашему директору в трактористы идти, - стаканчиком пива и все жаловался на порядки в таинственном ЖКО, и в конце концов мне все это очень понравилось, а с Егорычем я договорился, что буду теперь всегда помогать ему печки класть, тот обрадовался, есть теперь кому дело в руки передать, ты, Борисыч, не сомневайся, профессия эта почетная, сколько Чомбей стоит, столько и печки ставить будут, такое поколение, ему это центральное отопление ни к чему, а значит, и мы с тобой нужны будем, только в ЖКО не ходи, оставайся вольным, еще год проучись, восьмой закончишь, и я уйду из этого ЖКО, вместе вольными будем, ох, заживем, не сомневайся, Борисыч. Иностранец сначала хохотал над нами до колик, а потом заинтересовался, ты это что, серьезно, что ли, а чего, мне нравится, не всем же в летчики-истребители идти. Надо кому-то и на земле руками поработать. Он после таких слов поворачивался к Марфиньке, нет, ну ты посмотри на этого лицемера и демагога, а я, честное олово, настроился на вольные хлеба с Егорычем, а Марфинька только ласково улыбалась и говорила Иностранцу: "Отстань от них." « Да как так отстань, - взвизывался Иностранец. - Друг, можно сказать, на глазах пропадает, не бывает тому. Надо к университету готовиться. Вы что, сдвинулись оба, ну, Марфинка, девчонка, а ты то, Борисыч (с большой иронией), заболел, да...»

Он пошел и рассказал все Прокопию Гурьешчу. Тот схватился за голову, потому что знал, что если я что-нибудь вдолблю себе, надо сразу же принимать меры, иначе поздно будет, даже родительская порка может не помочь. Он позвал меня и Егорыча в учительскую и сказал, что я могу идти в печники лишь после десятого класса. Я только усмехнулся в ответ, и подумал, что придется все-таки Иностранцу раз в жизни рожу начистить. Егорыч помолчал, а потом сказал мне: "Иди, Борисыч, там раствор застынет, да гляди, про заслонку не забудь, обложь кирпичом как следует", и я ушел.

Потом мы с Егорычем допоздна работали вдвоем, он ничего мне сначала не говорил, а потом сказал то, о чем я уже и сам догадался. Ничего у нас не выйдет. То есть я еще могу на все плюнуть и поступить по-своему, а Егорычу зарез. И в ЖКО со света сживут, а хошь не хошь, надо год доработать, последний год перед пенсией, и уйти бы можно было, да он в этом ЖКО уже двадцать восьмой год работает, уйдешь сейчас, совсем другая пенсия выедет.

- Пойми ты меня, Борисыч, - сказал он мне, и я его понял. Этого человека мне было легко понять.

Потом я пришел на базар, и сидел в одной лавке. Долго сидел, пока он не появился. Я подошел и сказал, чтобы он снял очки. Иностранец покорно снял, и мне расхотелось ему рожу чистить. Хоть бы скаламбурил что-нибудь по своему обыкновению, уже легче было бы.

- Что ж ты, собака, делаешь, - сказал я ему.

- Поймешь когда-нибудь, и спасибо скажешь, - ответил мне малолетний Сенека.

- Ну, не знаю, что будет когда-нибудь, а сейчас лучше заткнись.

- Да пойми ты, ненормальный, человеку мало просто с увлечением заниматься каким-нибудь делом. Ему надо, чтоб не только это дело делалось, но и продвижение было: и теоретическое, и практическое. Если хочешь - это карьера. Да, карьера, и человек только тогда полноценным себя чувствует, когда кроме дела, еще и карьеру делает.

- Или не делает...

- Что? - Не понял Иностранец.

- Я говорю, что иной человек себя полноценным тогда чувствует, когда не делает карьеру...

- Нет, ты все же чем-то заболел.

Ничем я не заболел, просто нравилось мне это дело, а в юности всегда так, если что понравится, так и кажется, что навсегда. Вот и я так думал. А уж когда первый раз затопили нашу печь, и она загудела, как турбина суперлайнера, вмиг обогрев кабинет физики, что-то во мне перевернулось. Я еще ходил неделю, действительно, как больной, ходил, никому ничего не говорил, потом сел и написал обо всем, что произошло, и происходит до сих пор, в душе. Иностранец прочел с удовольствием и сказал, что это совсем другое дело, что он примерно чего-то такого от меня и ждал, психологического экзерсиса, по его выражению, тут я ему чуть не врезал, он убежал и заметку мою унес.

Через три дня ее напечатали в "Чомбейском шахтере", полностью переписанную, и, в общем-то, совсем о другом, под заголовком "В школе снова тепло", но мне уже, по правде сказать, было все равно. Через полмесяца я сам, по собственной инициативе, написал новую заметку со школьной олимпиады, и ее тоже напечатали, и с тех пор я только этим и занимаюсь - пишу заметки для того, чтобы их печатали.

"Начал танцевать от печки", - высокопарно резюмировал Иностранец. Было бы удивительно, если бы он чего-нибудь такого не сказал.

\* \* \*

Разговор у нас за столом шел вполне светский. Конечно, не салон Анны Павловны Шерер, ну так ведь и мы не графы. А так - все на высшем уровне.

- У нас здесь хорошо, - говорил Элли Марфиньке, - в сопках можно ягоды собирать, на рыбалку ездим, а закаты какие, вы, наверное, уже заметили, это ж не закаты, а полотна художника Рериха...

- Похоже, - улыбаясь согласилась Марфинька.

- Вот, - заметно обрадовался Элли, как будто это для него было решающим моментом в тонкой игре, в любовной паутине, которую он начал плести, - такие закаты можно всю жизнь наблюдать, верно?

- Не знаю. Вообще-то, может и надоест.

- Нет, нет, - азартно махал руками Элли, - в Бухте не страшен смог житейских забот...

- Нет, ребятки мои золотые, что ни говори, а процесс адаптации индивидуума в одиночной камере - это тема даже не докторской, тут для академика труд, - говорил нам Степан Иванович-Батаевич.

- Ну, а вас-то с какой стати это интересует? Что, в одиночку собрались? - Ехидно опрашивал Иностранец.



**"Типун тебе на язык"** - теперь уже двое за нашим столиком размахивали руками. Мне показалось, что вечер достиг апогея. Как оказалось, я ошибся.

- Он что, в самом деле не знает об этом факте из моей биографии? - Удивился Копылов-Особый, обращаясь ко мне.

- А-а, вспомнил, вспомнил, в Красноярске, - закричал Иностранец.

- Ну, золотой ты мой, наконец-то... А то я аж испариной покрываюсь, неужто, думаю, и в самом деле не знает, было бы ужасно жаль, если бы не знал...

Как не знать. Все-то мы знаем про этого человека.

Ему и вправду пришлось полгода провести в одиночке. Но не просто в камере, а в сурдокамере.

Представляете, что это такое? Боюсь, что не очень.

— Я тогда уже перестал быть мэром Чомбея, - Копылов все же решил освежить память Иностранца, а заодно и всех остальных. Кроме Элли. Ему эти рассказы в новинку. Так пусть он и слушает цветистые рассказы...

Затрещали невидимые миру пчелиные крылышки, зажужжал старый баечник.

Лучше я вам сам расскажу эту историю, объективно и без утомительных подробностей. Но чуть позже...

Я вышел на крыльцо "Огней" и убедился в правоте Элли. Такой закат не надоест...

Я смотрел на это неземное космическое зрелище, на краски, палитра которых может быстро раскачать нервную систему, на выплеснутый кипящий красный металл заката, и думал не о нем. Что-то накатило на меня. Я стоял в Бухте, рядом были друзья, которых я люблю, и даже юродствующий Копылов был, если разобраться, родной для меня человек, он был совершенно не такой, как я, Иностранец, Элли, Марфинька, но что-то общее в нас есть. Это несомненно, и я не боюсь в этом признаться.

Доброта на меня нахлынула и затопила с головой. Долго копилась в душе, ждала своего часа, и он пришел - ни минутой раньше, но и ни минутой позже. До того проняло, что слезы подкатили.

Святое очищающее чувство.

Жалко только, что редкое.

Тем более, надо его ценить.

Я стоял, наслаждался, думал о том, что вот всё, черт возьми, хорошо, ну все, куда ни кинь, все прекрасно, сидим, ничего не трогаем, никого не трогаем, есть что друг другу сказать, любого из нас возьми, в беде не бросит, не подведет, проверенные люди, надо бы Сашке Севастьяненко помочь...

Тут в мыслительном процессе, или, если элегантнее, в потоке сознания, произошел качественный сдвиг. Я все еще по инерции благодушеествовал, но поток уже несся в совершенно другую сторону и с другой скоростью.

Жестко, компьютерно, формировалась программа будущих действий

- Значит, так, - думал я. - Как только прилечу в Город, сразу позвоню Прохору Константиновичу.

Это, братцы вы мои, мало того, что хороший человек. Он еще и замминистра всей их авиации, дай ему бог никогда не опуститься ниже начальника главка. Значит, так: жена-дети-здоровье, а в конце цепочки, так скромно, незатейливо, мимоходом и необязательно: Прохор Константинович, а правду мне сказали, что наше с вами последнее интервью по поводу экономии горюче-смазочных материалов там читали... Да, понял? Прохор Константинович, конечно не по телефону, понимаю, что вещи серьезные. Да когда подъеду? Сейчас и подъеду. Не в бирюльки ведь играли, вещи-то серьезные, пятилетка, она ведь спросит. Еду, еду, Прохор Константинович.

Я, правда, и без него все знаю: где читали, кто читал, и что после чтения сказано было. Но он-то не знает, что я знаю. Необходимое условие для создания благоприятных жизненных условий пилоту АН2 (второму пилоту) Чомбейского авиаотряда Александру Севастьяненко. Дальше все кажется разовым и безусловным: наконец-то отстанут от парня, дадут жить и летать как он хочет.

Но я прекрасно понимаю, что, если отстанут, то ненадолго.

А вот об этом уже думать не хочется...



\*\*\*

- Что, давненько не видал Бухтинского заката? - Ко мне подходил старый знакомый, сержант Гришанька. Нет, дорогой читатель, я не ошибся: годы прошли с нашей первой встречи, но как был Гришанька сержантом, так и остался. Знаете, как до революции вечные студенты были, так и он. И до родного Краснодара этот младший командир так и не добрался. Видать, коэффициент задержал. Только теперь Гришанька служит законности и правопорядку. Он милиционер.

- Я говорю, на закат любуешься? Закатец будь здоров. Плюнь - зашипит. Надолго к нам пожаловали, товарищ Рогов?

В его глазах так и прыгал другой вопрос: зачем?

- Да, - неопределенно ответил я, и, невежливо повернувшись, отчалил к своим.

Вхожу, а на эстраде уже добры молодцы установки децибельные разворачивают, готовятся к услаждению слуха присутствующих незатейливыми мелодиями. Что-то знакомое промелькнуло в фигурах трех музыкантов, распутывающих провода, и - "ба, не может быть, да это же..." - я их узнал. Все трое - морячки, которых так не любила пехота, а, впрочем, кого она любила, эта пехота, ей ведь никакого дела до того, что у братишек в тельняшках тонкие душевные институты...

- Газы справа! - Крикнул я им.

Они вздрогнули. Видно было, что отвыкли от этой фразы. И видно было, что им неприятно ее слышать. Но потом моряки меня узнали, вежливо усмехнувшись, отсалютовали в знак приветствия гитарами, и даже сыграли несколько тактов туша. "Пустячок" - а приятно" - вспомнил я. Черт бы побрал эту Бухту, на каждом шагу воспоминания, просто преследуют, просто ходу не дают.

И за это я ее тоже люблю.

- Ты где бродишь? - спросил заскучавший Иностранец. Между прочим, второй раз за сегодняшний день. Он слушал Степана Ивановича, но уже из вежливости, и только. Ему было жаль тратить хороший вечер на эпизоды из жизни Копылова, тем более, давно знакомые.

А Элли с Марфинькой - так те вообще, по-моему, его не слышали. Говорили о чем-то своем...

- Вот таким макарон я и восстановил справедливость, - подвел черту явно обиженный невниманием Степан Иванович.

Вот каким макарон он это сделал - я вам обещал, я и расскажу. Это к тому, что слов на ветер не бросаю...

\*\*\*

В те годы Марфинька еще не набрала своих метр восьмидесяти двух, но была уже по-французски изящна, как и сейчас. В те времена Степан Иванович был секретарём Чомбейского горкома партии. Было такое. Недолго, но было.

А еще раньше судьба - ненадолго, правда, на два-три года, - собрала всех наших на Осеннем. Все наши семьи.

Зимой на Осеннем по вечерам тоскливо. Охо-хо-хо, как тоскливо. А зима... Ох, какая длинная зима. Они, папа и мама, берут меня, трехлетнего молодого человека, и идут в гости. Чтоб не так тоскливо было. Идут, конечно, к Гришке и Танюшке. А я иду к Марфиньке, совсем ещё маленькой.

Но очень хитрованистой. Там и друг закадычный, Иностранец пузатый, должен быть со своими. Мы идем гуськом - я в середине - по узкой тропинке. Впереди большущий подъем, зимой он еще кое-как служит людям, а весной по нему бежит ручей. Да даже не ручей, а целая горная речка из стаявших окрестных снегов. И тогда для меня, и Иностранца возле этой речки находится много неотложных дел. А подъем крут. Как уцелели, до сих пор не пойму. Валуны ведь таскала эта речушка. Потом мы топаем по Новостройке. Так называется район Осеннего, состоящий из новеньких двухквартирных деревянных домов. Странно устроена эта Новостройка: идешь, идешь, вроде поселок, а потом - на тебе - тайга и тайга.

Страшно, хотя и знаем, что это вовсе не тайга, а ее кусок, почему-то строителями не тронутый. И сейчас из-за елей опять засветится Новостройка...

Она светится, мы подходим к дому, где живет Марфинька с родителями, чинно обметываем голиком снег с валенок, а из окошка доносится: "Цыгане шумною толпою..." Аккордеон в руках дяди Гриши. Я, не заходя в зал, иду в Марфинькину светелку, в детскую, и дел нам троим хватает до полуночи. Взрослые нам не мешают, не угнетают, как в обычные дни.

Они отдыхают. Все наши. Тетя Таня, моя мама, и родная мама Иностранца, Клавдия Николаевна, толкуют о своем. И вовсе даже не о женском. Все трое напрочь связаны с шахтами Осеннего, и разговор идет сугубо производственный. А отцы беседуют со Степкой - Степаном Ивановичем Копыловым. Он говорит, кому-то подражая: "Потому, мужики, не совсем до вас доходит, меня парторгом прииска не для того выбрали, чтоб я цацкался с элементами. Не позволено это ни вам, ни нам. Здесь я могу расслабиться, а у себя в кабинете - ни-ни. Другая там жизнь, для неё я и существование своё нынешнее осмысливаю".

- Для ей, - говорит мой отец. Он Степана Ивановича знает дольше всех, еще с фронта, полгода воевали в одной роте. Он знает, что переубеждать его бесполезно.

Остальные об этом догадываются.

- Для её, - говорит дядя Гриша.

- Для неё, - заключает отец Иностранца.

Давайте, давайте, - посмеивается над ними Копылов.

Даем, даем, - посмеивается над ним троица.

Давно это было - в масштабе, разумеется, человеческой жизни. Моей жизни. Очень многое с тех пор изменилось. Изменились и изменилось. Мне так хочется крикнуть им, туда, в прошлое, живым, молодым, смеющимся: "Ну что вы ржете! Ну что вы все время смеетесь! Ведь не смешно все это, да скажите же, скажите ему..."

Но как, и что сказать? - смеюсь я уже над собой. Нет этих слов ни у них, ни у меня. Да и существуют ли они, такие слова, услышав которые молодой Степка Копылов хотя бы в затылке почесал. Нет таких слов.

Время за полночь. Мы уже спим, сами уснули. А из соседней комнаты несётся мелкобуржуазный (как я теперь понимаю) припев: "Тач-тач, тач-тарарач...", а аккордеон сменяет пианино, пианино – аккордеон. Они поют, пляшут, смеются, и не боятся нас разбудить. Кажется, они и забыли о нас. И тёмная, стылая декабрьская ночь Осеннего отступает перед залихватским мотивчиком.

\*\*\*

Точку в карьере секретаря по идеологии Степана Ивановича поставил представитель нацменьшинства Петр Петрович Петров, потомственный оленивод и бессменный член Чомбейского горкома. Он и правда дремал на пленумах уже лет пятнадцать, как бригадир и передовик. А на этом с ним произошло что-то невероятное, необъяснимое, и даже жуткое. Короче говоря, Петр Петрович вдруг проснулся, вылез на трибуну, и, вместе положенных слов о поголовье оленей и качестве радиоприёмников "Спидола", начал крыть всех подряд. Вот и Степана Ивановича не обошёл, даром что тот только-только перешел из приискового парткома в свою нынешнюю вотчину.

- Что же это, однако, - хитренько прищурил и без того узкие щелочки - глаза, – секретарь в стойбище - ни ногой? Не интересуется, значит, как наш народ – живёт-поживает, а?

- Как, - задохнулся от негодования Степан Иванович, - да я же третьего дня у вас был!

- Был, был, - закивал своей бурой головой оленивод, - вышел из вертолетки, поссал, однако, и дальше полетел.

Пленум грохнул и долго не мог успокоиться.

Смех смехом, но в обкоме вдруг затеяли недоброжелательное расследование, вызвали командира вертолета МИ-6, на котором обычно Копылов летал в тайгу. Тот со злобой рассказал, что, дескать, правда, с похмела был Степан Иванович, дул всю дорогу пиво, потом увидел внизу стойбище, оленей, зашел в кабину, и начал орать, что ему надо "ослика привязать", он, командир, не понял, какого ослика, но сел, а Степан Иванович вылез и, разговаривая с потомственными олениводами,

минут десять прудил ему на шасси, то есть, не ему, командиру, а вертолету, аж заledenело, и после этого велел возвращаться в Чомбей.

Обком зловеще промолчал, но Степан Иванович понимал, что даром это всё не пройдет. Где-нибудь да аукнется. Слишком много там добрых людей работает, да и не много, а все, до единого. Нужна была акция.

Он вызвал в свой кабинет, на дверях которого красовалась новая ещё табличка: "Копылов С.И., секретарь Чомбейского горкома КПСС", одного олуха царя небесного, инструктора сельхозотдела по должности. Никто не знает, какие они там разговоры разговаривали, но дело кончилось плохо. Степану Ивановичу хотелось подстегнуть посевную кампанию в крошечном Чомбейском совхозе "Гигант". На полях его, тянущихся от аэродромной полосы и до самой тайги, трое трактористов трудились кое-как, а четвертый, пожилой уже Федор Никитович Зотов, пахал на совесть. Да он иначе-то нигде не работал, ни в ремонтных мастерских, ни на конюшне, ни в котельной. Куда бы судьба ни бросила, пахал, как уже сказано, на совесть. Засветло еще садился в хреновую кабину старенькой "Беларуси", брался за рычаги, и - на весь день. Тянул, бурчал, мурлыкал под нос: "А еще тебе желаю, если смерти, то мгновенной", вспоминал все безобразия, чинимые женой Евдокией Афанасьевной, дочкой Наташкой, псом Дружком, все прорехи на дворе и в доме, ждущие его мастеровых рук, вспоминал и молодых чомбейских комсомолок из тридцатых годов, с которыми довелось быть знакомым. Не без удовольствия вспоминал.

Но чаще всего Федор Никитович думал о войне, о друзьях-однополчанах из 131 гвардейского пехотного. Служил он в роте разведки старшиной, в тыл ходил не так уж часто, но случалось. Самое интересное, что Степан Иванович заканчивал войну тоже старшиной и тоже в роте разведки.

Степан Иванович Копылов и Федор Никитович Зотов до этой, хоть и смешной, но, все же, злополучной истории, никогда не встречались. Хотя, ясное дело, были наслышаны друг о друге. Трактористу приходилось читать биографию Копылова, размноженную Чомбейской типографией, а секретарю горкома неоднократно докладывали, что в совхозе "Гигант" есть передовик, зовут его Федор Никитович Зотов.

И решил его Копылов наградить. Тут тебе и приятное - для самого Зотова, тут тебе и полезное - остальные трое пахарей, узнав о награждении коллеги, несомненно взвоятся, как соколы - орлами, и начнут пахать лучше и глубже. "Стимул - великая вещь", - говорил Копылов тому самому инструктору сельхозотдела.

Никто, правда, этого не слышал, но не мог он такого не сказать.

Степан Иванович к тому времени уже был довольно опытным работником. Он прекрасно понимал, что банальное вручение вымпела и будильника с дарственной надписью в районном Доме культуры вряд ли ошеломит, поразит, сомнет, заставит стиснуть зубы, трех остальных трактористов. И он предложил подчиненному придумать что-то новое, светлое, а еще лучше - совсем оригинальное! - Ничего, ничего, - говорил он ему, - пошевели, пошевели мозгами, тебе это полезно. И чтоб твои предложения не позднее завтрашнего вечера у меня на столе лежали.

Тот пошевелил. Предложил вместо будильника вручить сельскому передовику мачете.

- Скольких зайцев убиваем, Степан Иванович, - волнуясь, докладывал инструктор, - и оригинально, и намека на нерушимую дружбу интернациональную с Островом Свободы. Вот только где его достать?..

- Это ерунда. Закажем в ремонтных мастерских, а эскизик я сам набросаю, мне его приходилось в руках держать. Нет, но этого мало, дорогой ты мой. Мало этого. Надо создать незабываемую, запоминающуюся атмосферу, сделать так, чтоб уж никогда Зотов не забыл этот день. Вот что, я, кажется, придумал. Кажется, придумал кое-что. У нас ведь рядом с совхозом авиаотряд стоит, так? Значит, дорогуша, вот что сделаем: Зотову ничего не говорить, пусть идет в поле, пусть пашет. А ты сейчас звони командиру летунов и договаривайся насчет Ан-2.

Он сам переговорил с командиром летунов и выложил ему грандиозную и, несомненно, оригинальную идею награждения сельского передовика. Летит Ан-2, пашет трактор, потом из самолетика выпрыгивает парашютист с мачете и вымпелом, приземляется, на поле, Федор Никитич стопорит свою машину, идет навстречу награждающему, они сходятся в пропаханной борозде,

вручается вымпел, мачете, говорятся торжественные и искренние слова, вытираются скупые мужские слезы...

Командир летунов засомневался было, но Копылов ледяным тоном спросил, отдает ли он себе отчет в том, насколько важна в данный период эта пропагандистская и идеологическая акция? Командир, конечно, отдавал, а потому и АН-2 без дальнейших разговоров выделил.

А инструктор сельхозотдела тем временем уже подыскал кандидатуру награждающего, что было непросто. Все молодые люди, работающие в горкоме, услышав про парашют, наотрез отказывались. Уговорить их было невозможно, и инструктор не уговаривал, а каждого спрашивал, кто, по его мнению, может наградить Зотова, Так его "навели" на Никиту Черкасова, инструктора из горкома комсомола, когда-то работавшего лесным пожарником-парашютистом.

Для Никиты прыжок был делом пустячным, это верно. А всему остальному: торжественным выражениям при вручении наград, умению держать себя с достоинством, но в то же время очень сердечно и просто, - он как раз учился. Так что молодой инструктор даже обрадовался внезапно подвалившей практике. Теоретически-то он уже умел награждать.

А в ремонтных мастерских ковался мачете для Зотова, по "эскизу" Копылова. Уж не знаю, каким он был этот эскиз, я его не видел, только вместе кубинского мачете умелые руки Рика Михайловича Севастьяненко ("что ты, - говорили про него чомбейские старушки, - мастер. Булат куёт. Кобель только") сваял русский меч-кладенец. Впрочем, это он мне таким показался. Зотов, например, в первые минуты принял его за турецкий ятаган. Вот и пойми, что это за холодное оружие получилось. Всех подвели фронтовые привычки Федора Никитича. Он, когда увидел спускающегося прямо на крышу его "Беларуси" парашютиста с мечом, сначала сделал то, что и полагалось по сценарию, остановил трактор, но потом начал играть по своим правилам.

Зотов пахал у кромки поля, за которым начинались тайга. Он выпрыгнул из кабины, сунув под телогрейку традиционное шоферское оружие, монтировку, и спрятался за здоровенной елью. В голове стучали две мысли: "Золотой запас Родины, гады, узнать хотят" и "Поражу бедолагу".

И пока Никита подтягивал купол, Зотов звериным прыжком перемахнул борозду, широким размахом огрел инструктора своей железочкой поперек спины. Никита повернулся и, от болевого шока уже ничего не соображая, дико улыбнулся и произнес: "Дорогой сельский тру...". Зотов не дал закончить фразу. Он только подумал, что хорошо их там русскому языку обучают, сбил Черкасова оплеухой с ног, заткнул рот вымазанным в черноземе вымпелом, и связал руки имевшейся в наличии бечевкой.

Пока вязал, Никита выплюнул вымпел и успел хрипло закричать: "Ты чего, козел, дерешься!.."

**Вот** если б не было этих слов, то, может быть, и не попал бы он впоследствии на целую неделю в больницу с производственной травмой. А так...

- Что же получается, - горько промелькнуло у Федора Никитича, - в родной стране диверсанты козлом обзывают, а? Ну, не бывать такому.

После этого Черкасов уже надолго замолчал. И вымпел не нужен стал. А Федор Никитич только приговаривал: "Это тебе золотой запас... Это тебе как фронтовиков козлами обзывать... это тебе за поруганную честь..."

На поруганной чести Зотов пришел в себя.

- Совсем с ума спятил, старый балбес, - ругнулся он, впрочем без особой злости, - угроблю парня, а он вишь, совсем молоденький. Ну, так что ж, что шпион. Отсидит свое, обратно отправим, может, еще человеком станет. Интересно, с какой части света к нам, а?

На эти вопросы, по мнению Федора Никитича, могли ответить только в Чомбейском райотделе милиции! Куда он и отвез беднягу инструктора.

Дальше этот спектакль разыграла сама жизнь. До вечера в кутузке сидел избитый Никита Черкасов, а вечером его место занял "дорогой сельский труженик". Потом и с ним разобрались. Поругали, похвалили, извинились, познакомили и помирили с Черкасовым, а затем, взяв для чего-то подписку о невыезде, отпустили.

Степан Иванович сидел в своем кресле еще месяц-другой. Потом как-то незаметно для окружающих стал директором городского Дома культуры. Он тут же запил горькую.

Часто видели Степана Ивановича (который уже потихоньку становился сначала Особым, а потом и Батаевичем) вместе с Федором Никитичем. Взяв все необходимое для беседы, и еще пучок молодой редиски, они удалялись - иначе не скажешь - в дебри городского парка. Резали осторожно закуску одиозным мачете. Говорили долго, обстоятельно, степенно. Больше вспоминали фронт, но и историю своего знакомства тоже не оставляли без внимания. Иногда к ним присоединялся Рик Михайлович Севастьяненко, непосредственный, как считали Копылов и Зотов, виновник разыгравшейся драмы, смастеривший уродливую (пора сказать об этом правду. Но не забудьте, пожалуйста, и про "эскизик") шашку. Он на них не обижался, а в разговоре все больше нудил, что хоть он в разведку и не ходил, но руки-то у него золотые, а вот начальница (то есть моя родительница) на это положила. Ей - тут он кое что прибавлял я этого передавать не буду, моя же мама-то, - дисциплину подавай, и стабильность в работе... Тьфу, слово-то какое противное.

Обычно в конце беседы кто-нибудь из них подводил к тому, что даже хорошо, что все так вышло. А то не получилось бы приятного знакомства. И собеседники соглашались.

Потом на горизонте появлялся сторож парка, молоденький студент Цыган Мара, и, вежливо выпив предложенную стопку, разводил старичков по домам. Благо в Чомбее всё недалеко.

Тут в Чомбей вернулась Марфинька, жившая почти полгода у своей бабушки. Бабушка собиралась в мир иной, но у самого порога передумала. Почти полгода она провела в каком-то необычайно далеком Краснодаре, поддерживаю бабулю, и мы очень соскучились.

Марфинька быстро разобралась во всем, и круто взялась за Копылова.

- Ну что, - вне себя от ярости орал Иностранец, - ну что, больше дел нету? А как-нибудь иначе ты можешь жить, идиотка?

Теперь-то и он понимает, что не может.

А Степан Иванович почувствовал, что теперь единственное его спасение - в Малышке. Больше у него на этой планете никого нет.

Он бросил пить (во всяком случав, по-черному), дождался, пока она закончит десятый класс, и они уехали в Красноярск.

Я не знаю, где и когда Копылов познакомился с живущим в Красноярске, и там же плодотворно работающим, засекреченным профессором Кисовским-Энгажем. История, а также сам Степан Иванович, об этом умалчивают, поскольку засекреченный.

Этому Кисовскому-Энгажем Копылов очень понравился. Он ему и раньше письма писал, приглашал принять участие в своих научных экспериментах. А когда узнал, что Копылов сейчас вроде не при деле, заказал телефонный разговор с Чомбеем.

- Степан Иванович, чудак вы человек, - надрывался в тропосферной пустоте голос профессора, - Тюнер вы мой дорогой, что вы колеблетесь? Для вас это лучший выход из положения. Вам надо расслабиться, уединиться, подумать о своей жизни, прошлой и будущей. Вам надо провести ревизию - и я вам предлагаю для этого комфортабельные условия моей сурдокамеры. Полгода вы будете делать только одно, нет, два дела: думать и вспоминать. Полгода уединения... Да если б мне можно было, я бы уже там сидел. Не скрою, не скрою, вы для нас тоже один из самых оптимальных кандидатов на полугодичный цикл... Короче: мы нужны вам, вы нужны нам. Приезжайте.

Проф встретил их, угостил, разместил. И Марфинька, и Степан Иванович получили по комнате в общежитии гостиничного типа. Район, где они жили, называется Академгородок. Простенько и без претензий. Как везде.

Уже через день Кисовский-Энгажем в половине восьмого утра (не без помощи Марфиньки) растолкал неторопливого Копылова и увез в свой засекреченный научный центр. Я и теперь о нем знаю лишь то, что там наблюдают за жизнью человека в не совсем человеческих условиях.

Это предстояло и Копылову: полгода провести в сурдокамере. Внешние приличия, как и обещал проф, были выдержаны в хороших тонах: первоклассная еда, библиотека - мечта, радио, телевизор, ну, в общем, со всеми удобствами. Только полгода никого не видеть, ни с кем словом не

перекинуться. В этом вся задача. По-моему, Кисовский-Энгажемо прав - такое необходимо пережить каждому человеку. Лучше всего, разумеется, в критический для себя момент.

У Копылова, как вы догадываетесь, он таким и был. Марфинька поступила на временную работу в научную библиотеку, а Степан Иванович, выдержав все предварительные испытания с блеском, подписал договор-обязательство, в котором его, "Исследователя", приравнивали к «старшему научному сотруднику данного центра», со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Перед тем, как зайти в сурдокамеру, он в душе перекрестился. Степан Иванович всегда так делал в волнующие секунды, и нисколько этого не стыдился.

Пожалуй, не менее уединенно, чем Копылов в сурдокамере, жил проф. Неизвестно, были ли у него какие-нибудь родные, он об этом никогда не распространялся. Работа и дом, двухкомнатная квартира в пятиэтажке, рядом с общежитием, в котором жила Марфинька. Они здорово подружились. И много времени проводили вместе. Странно, казалось бы, какие могут быть общие интересы у шестидесятидвухлетнего профессора и семнадцатилетней библиотекарши? Однако, вот поди ж ты...

Ходили на красноярские столбы, за грибами, выбирались иногда в город, в театр. Кино Кисовский-Энгажемо не признавал. И очень много разговаривали, на разные темы.

- Девчонка, но откуда такая душа? - Не переставал удивляться проф. - Таких на планете раз-два, и обчелся!

По вечерам сидели в его кабинете, и он старательно что-то объяснял ей. Подолгу и упорно. Даже схемы какие-то чертил.

- Никто в это не верит, - говорил проф Марфиньке, - вернее не поверит? Ведь я еще никому не рассказывал. Зачем? Все равно, если б и поверили, никто бы не смог. А вот тебе под силу.

И он смотрел в узкие и модные глаза Марфиньки.

- Есть, - кричал Кисовский-Энгажемо, - есть глубокий и постоянный импульс...

- Что за импульс? - Спрашивала Марфинька.

- Понимаешь, - невесть от чего смущался профессор, - у него нет названия. Оно мне пока ни к чему было! А сейчас можно придумать. Как угодно можно назвать. Ну, давай, условно, так: импульс добра? Идет?

- Идёт, - кокетливо отвечала Марфинька. - У вас он тоже есть,

- У меня, - начинал непритворно грустить он, - у меня не то. Ну, примерно, так: у меня обыкновенный, человеческий, а у тебя в три раза сильнее. Потому-то ни у кого, кроме тебя, и не получится. Уж не знаю, как это вам, очаровательная синьорина, удалось...

- Я тоже не знаю, - пожимала плечами Марфинька, - такой родилась...

Как бы оказал Иностранец, (а он, кстати, и сказал) - "Устами Малышки глаголет истина".

Марфинька чувствовала, что в последнее время (прошло уже пять месяцев отсидки Степана Ивановича) у Кисовского-Энгажемо не очень-то хорошо на душе. Она не догадывалась, в чем дело, но как могла поддерживала и помогала старику.

Оно и понятно, совсем тогда была молоденькой Марфинька. Ну и, совсем неопытной. Потому и не догадывалась. А дело было самое обыденное и простенькое, группа молодых, но уже опытных и вполне бездарных сотрудников, заинтриговала старичка в доску. С целью, так сказать, государственного переворота.

Все умел Кисовский-Энгажемо. Скажем больше, за долгие годы размышлений и наблюдений в нечеловеческих условиях, он умел и нечеловеческое.

Но одно дело борьба в нечеловеческих условиях за жизнь, и совсем другое - борьба в тех же условиях за власть. Вот за власть проф бороться не умел. Это не входило в область его интересов, ни человеческих, ни научных! И когда до инсульта оставалось, как в песне, четыре шага, чутье и интуиция Марфиньки сделала свое дело. Она вызвала скорую, а когда приехавшие врачи порекомендовали профессору покой и уже было хотели удалиться, потребовала у них расписку. Обыкновенную такую расписочку, что дескать, были, осмотрели, послушали, оснований для беспокойства нет, так же как нет их и для госпитализации.

И все сразу появилось: и шумы в сердце, и прединфарктное состояние, и немедленное переселение в палату больницы Академгородка, и еще что-то такое, понятное только им, врачам. Проф от госпитализации не отказывался. Ему уже тоже срочно понадобилась своя сурдокамера. Он был доволен Марфинькой. Ее глубокий и достойный импульс расширился. К тому времени и у Степана Ивановича закончилось добровольное заточение. Он, единственный раз лежавший в госпитале в сорок четвертом, с ранением в плечо, а из серьезных болезней перенесший только гонорею в сорок девятом, и ту на ногах, очень робел, надев белоснежный халат, наведавшись к непонятно чем занемогшему профу. Зато из палаты старикана вышел Копылов-Особый разъяренным, забыв и о робости, и о светских приличиях, коими так дорожат ученые!

-Нет, я сделаю, я сделаю. На Соловецких островах они теперь свои эксперименты проводить будут.

Угроза выглядела старомодной и поэтому Степана Ивановича никто всерьез не принимал. Но, дорогой читатель, я-то вполне серьезно предупреждаю: нельзя, нельзя легкомысленно относиться к гневу коренного чомбейца. Нельзя потому, что можно поплатиться многим. Степан Иванович» как уже замечено. работником был опытным. И игры эти, слава Богу, наизусть знал. Все эти эндшпили, рокировки, сицилийские защиты, - все это для него семечки. Начал он с е2, а закончил натуральным матом.

... Пока проф лежал в своей распрекрасной больнице, Копылов-Особый пришел к его молодому да раннему заместителю, исполняющему обязанности ученого, и заявил, что все данные, которые получили в центре с его Копылова-Особого помощью, можно считать недействительными, а когда тот его спросил, с какой же это стати, то Копылов-Особый, немного помявшись, сообщил, что все эти полгода он совершенствовал в сурдокамере свой немецкий язык, который он и так знает почти в совершенстве, и думал он целых шесть месяцев на этом, на чистом немецком, а, соответственно, эксперимент теперь чистым не назовешь, ну и отсюда вывод, а исполняющий обязанности в ответ на русском языке сказал, куда ему надо пойти со своим немецким, и Степан Иванович-Батаевич после этого посылал на сутки заперся в своей комнатке, обложился справочниками по трудовому законодательству и изучил договор с Центром до последней запятой, а потом опять пришел в Центр и опять заявил, что поскольку по этому договору он приравнен к старшему научному, то ему обязаны за полгода заплатить 15-процентную надбавку за знание иностранного, то есть немецкого языка, тут весь Центр собрался посмотреть на наглеца, и все наперебой спрашивали, за что же платить, ведь он полгода провел без собеседника, ничего не переводил, да и книжки на немецком в сурдокамере - так уж вышло - ни одной не было, так о какой надбавке, простите... - «прощать нечего», говорил в ответ исследователь, есть закон, и будьте любезны, а все остальное его личное дело, личное, понятно, но, так и быть, он скажет, он еще раз скажет, для тех, кто не понял, скажет, почему ему должны заплатить эти деньги: он думал, понимаете, думал, все эти полгода думал на немецком языке, но это к сведению, а вообще-то надо просто соблюдать договор, а не хотите, так я, товарищи, в суд подаю, а товарищи в ответ уже откровенно загоготали, и уже не один исполняющий, а несколько мэнээсов послали Степана Ивановича по матушке, и Копылов подал в суд...

А в суде Степан Иванович встал, когда дали слово, и сказал, что ему, товарищ судья, наплевать на деньги, но никак он не хочет плевать на справедливость, а справедливости ради надо сказать, что в этом Центре, где положено только изучать и наблюдать за человеком в нечеловеческих условиях, лучше всех себя чувствует исследователь, который скрыт от наблюдателей толстыми стенами, и не имеет возможности с ними общаться, а если б имел, то скоро сам бы начал превращаться из человека в самую что ни на есть скотину, или, как проф, угодил бы через непродолжительное время в реанимацию, потому что, товарищ судья, - столько мерзости, в этих ежедневных играх, столь любимых молодыми учеными Центра, что ни словом сказать, а только матом, а судья, Виктор Филиппович Король, сам когда-то работавший в городском экскурсионном бюро, и прекрасно понимавший, о чем говорит Копылов-Особый, и даже, больше того, разделявший его негодование и

по поводу, и по существу, недолго думая, присудил центру выплатить 15-процентную надбавку отважному исследователю, думающему исключительно по немецки, а в вышестоящую организацию отправил частное определение, в котором советовал понаблюдать за молодыми ретивыми карьеристами, поизучать, что они там изучают, и, конечно, ввернул фразу о моральном климате в Центре, где созданы все условия для размышлений о жизни человека в нечеловеческих условиях. Когда проф вернулся из больницы, эти крепкие ребята, как ни в чем не бывало заглядывали ему в глаза и ловили каждое слово. А Степан Иванович больше в Центр ни ногой. Хотя деньги, конечно, получил сполна.

\* \* \*

- Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ду, - загудел трубач. Труба смела с места Элли. Он пригласил Марфиньку, и они пошли танцевать: счастливый Элли и довольная Марфинька. Она - высокая и тонкая, он - чуть-чуть ниже, зато - атлет...

Братишки играли сладкий, даже чуть приторный, "Маленький цветок" Сиднея Гоше. Но нашей паре музыка не мешала. Они, то есть Элли говорил, а Марфинька слушала, - продолжали обсуждать плюсы и минусы захода и восхода Солнца в Бухте.

- А приятель у вас не дурак, - сказал Степан Иванович, - ей богу, губа не дура. Ишь как подхватился...

- Только не надо перед нами изображать посаженного отца, - ответил ему Иностранец. И еще пробурчал, - а то действительно им станете.

Каламбур был злой. Копылов-Особый его не понял. Он ничуть не смутился и даже заулыбался: "Не надо парить своих ребят, да? Не буду. Только не понимаю, что это ты мне грубишь?"

- А мне не нравятся махинаторы. И комбинаторы не нравятся. И притворяться я не люблю.

Один я знал, что грубит Иностранец не по этой причине. Причина была более серьезная. Я-то думал, что все уже прошло...

А притворяться-то он как раз любит.

- Зря ты так, Иностранец, - сгорбился Степан Иванович, - пацан ты еще. Да и я вовсе не махинатор, и не комбинатор. Авантюрист я, Иностранец, садовая твоя голова.

- Голова у меня не садовая. Голова у меня, скажем так, оранжерейная.

И правда, это уж слишком простовато для рафинированного Иностранца. Хотя и насчет оранжереи тоже чересчур.

- Авантюрист - это хорошо. Только я не верю авантюристам, которые стали ими ближе к концу жизни.

- Все же ты дурак, Иностранец. - Как-то грустно разозлился Степан Иванович-Батаевич. - Дурак, если не понимаешь, что я и кто я.

- Чего же не понять? Вот вам шестьдесят с хвостиком, а вы из адвентистов да в альпинисты.

- Из каких еще адвентистов?

- Из адвентистов единого политдня.

- Я прожил не одну жизнь, - сказал Копылов, - чего и тебе желаю.

- А мне не надо...

- Надо - не надо... Никто не спрашивает, надо ли, не надо ли. Увидишь, все само собой выйдет. Да я плохого-то не пожелаю. Все-таки мы с твоим отцом друзья.

- Отец - это отец, а я, это - я, - уже не так напористо закончил перестрелку Иностранец.

А я подумал, что еще неизвестно, как бы сложилась последняя жизнь у Степана Ивановича, не будь на свете Марфиньки.

Подошла официантка, Степан Иванович заказал себе жареного лосося, Марфиньке - сыр и маслины. Все пили "Окейю".

- Нет, что играют, а? Тягомотина слащавая, - перекусив, возмущился Копылов.

- Они такие, - усмехнулся я, - самовыражаются.

- Самовыражаются, - оживился Копылов, - это и я люблю. Но не так. Щас покажу.



- Что?! - Не удержался Иностранец, - Что вы нам покажете? Импровизацию? Стиль фьюжн?

- А чо,.. - улыбнулся старый селадон, - и его могу.

- Ну, - развел руками Иностранец и замолчал.

- Тюня, - сказала Марфинька, - Тюня, не надо.

- Но почему?

- Не надо. Ты сам знаешь, почему.

- Не знаю я ничего.

- Тюня...

- И я тебе не Тюня. Не Тюня я, ясно?

- О, - страшно перепугалась Марфинька, - а кто же ты?

- Я,- Степан Иванович-Батаевич был в ударе, - я гетеродин.

Тут уж мы все ошалели.

- Я одинокий гетер. И не мешайте мне.

- Вы бы повежливей с девушкой, - сдержанно и сурово заметил Элли.

- А она не девушка.

- Что-о-о? - Привстал Элли. Потом опомнился и сел. - Да вы... клевет какой-то.

- От урбаниста слышу.

- Нет, а кто же я по-твоему, а, Тюня? - Марфиньке было очень весело. А Элли нет. Ему этот разговор был не по душе.

- Ты реостат для земного притяжения.

Да, дождалась Марфинька. Но хорошо хоть каким-нибудь мудреным биографистом не назвал.

Кроме того, если для нас это была просто не новость, то для Элли - приятная не новость.

В общем, мы поняли, что он сейчас разделается с любым из нас, настроение Степан Иванович прямо-таки излучал, и мы отпустили его самовыражаться. Попросту танцевать.

Одинокий гетер подошел к небольшой эстраде, и долго о чем-то договаривался с главным морским волком. До нас долетали обрывки этого разговора: "Это же приватно... Как двадцати мало... Совсем бесплатно... Удивлен, но не поражен... Но вы поняли суть..."

Потом братишки начали играть, а Копылов-Особый вышел на ресторанный пятачок и сделал стойку на руках. Он решил перед танцем показать себя залу. Но в "Огнях Колымы" такими штучками мало кого удавишь. И неестественная поза осталась без внимания.

Морячки быстро перебирали ритмы, а Копылов все стоял. Наконец они заиграли в галопном темпе мелодию песенки "В моем сердце горит огонь, который я буду поддерживать всю жизнь", и он, встав на ноги, и медленно их переставляя, как робот, пошел на середину круга. С этой точки Копылов никуда уже больше не перемещался. Ну, там, туда-сюда, полметра на запад и на восток. Степан Иванович-Батаевич занимался своим любимым делом - бил чечетку.

- Ух ты! - Восхитился Элли. - Вот это темп.

- На уровне американских негров работает. - Серьезно заметил Иностранец. А потом все же не удержался и добавил.- Это что? Это ведь "Степ да степ кругом".

Не знаю, как там насчет американских негров, но бить степ Копылов умел.

У братишек на эстраде все было по-честному. Они настолько отдались импровизации, что дошли до точки. В нашем случае - до самой черты произведения, тут уже ничего не поделаешь - если ты проповедуешь стиль фьюжн, то неизбежно играешь честно. Это ведь не рядовой полет фантазии.

Это высший пилотаж - чуть сфальшивил, и сначала в штопор, а потом и в землю.

А морячки стиль фьюжн уважали.

И что же из этого вышло? В разных местах мелодии песенки. "В моем сердце горит огонь, который я буду поддерживать всю жизнь" вдруг начала просвечивать еще одна мелодия, веселая и бесцеремонная. Знаете, это похоже на такую сугубо житейскую незадачу: модный костюм, модный покрой, а, главное, модная ткань. Но потом ткань протирается, и сквозь великолепие и величие видно нитяную основу. Говорят, богачам такие вещи даже нравятся.

Вам, конечно, интересно, что это за вторая мелодия. Что ж, скажу, отчего не сказать. Морячки, вконец отравленные стилем фьюжн, начали - видно было, что не нарочно - выдавать то тут, то там несколько тактов давно забытой песенки "По улицам ходила большая крокодила..."

Степан Иванович, никого и ничего не замечая, увеличивал темп. Морячки не отставали. Скорости приближались к звуковому барьеру...

- Чтобы день начинался, - для маскировки выкрикивал Копылов-Особый, - и кончался тобой. Чин-чин мальч-чуганы.

Это было, конечно, зрелище, что и говорить. Уже не только мы, все "Огни Колымы" с удовольствием глядели на него и мычали мелодию танца,

- Раздухарился наш парашютист, - сказал Иностранец, имея в виду давнюю историю из жизни Копылова.

- Ну, ты тоже этот вид спорта любишь, - ответил я ему, имея в виду недавнюю историю из его жизни. А потом добавил: "уважаешь".

Он посмотрел на меня. Я посмотрел на него, Марфинька с Элли - на нас.

Был еще пятый наблюдатель. Нет, не Копылов. Этот токовал. Неподалеку от столика в величественной позе стоял сержант Гришанька, строго любовался танцем, не забывая и о нас.

Больше всего его интересовала "Окейя" на нашем столе. Да ведь и то сказать: стоит какая-то совершенно непонятная, да хуже того, чувствуется издали, что не только непонятная, но и независимая бутылка, и мы несколько не боимся, и не стесняемся, что без этикетки, пьем без зазрения совести. А этот танцор - он что делает? Что за танец такой? Обнаглели, до предела обнаглели, но ничего, это у них сейчас закончится, это мы быстро прикроем... Думал Гришанька.

Он стоял, ничем, как ему казалось, не выдавая своих мыслей. А позу такую я видел только у лиц, подписывающих важный документ, и у футболистов, когда они стенкой защищают себя и ворота от штрафного.

Теперь вот сержант Гришанька: лицо неприступное, руки опущены вниз углом, правая ладонь лежит на тыльной стороне левой и все это сооружение ниже низа живота... Гришанька свое дело знает.

Наконец он решился. Он подошел к нашему столику и, на правах старого знакомого, сказал, кивая сразу и на "Окейю", и на Копылова: «Непорядок, братцы-кролики. Нарушаем, распиваем, что ж, что приезжие, закон-то для всех один... Непорядок, братцы-кролики...»

Иностранец чуть в обморок от удивления не упал. Но ведь ему раньше не приходилось встречаться с Гришанькой, так что это простительно. Я молчал, Элли и Марфинька не обратили на Гришаньку внимания. Танец Копылова, похоже, близился к завершению. Но и то, что уже было станцовано, не каждому под силу. Тут не только в чечетке дело - просто такую физическую нагрузку надо выдержать. И все же первыми начали сбавлять темп морячки.

Иностранец посмотрел в упор на Гришаньку, на этого паренька с кабаньей осанкой, и брезгливо сказал: "Что это вы несете, сержант? Какие кролики, какие братцы? Вы, может, еще про тамбовского волка вспомните?"

Он значительно положил руки на стол, и сильные худые запястья вылезли из рукавов его модного серого пиджака с большими прямоугольными плечами. Иностранец тоже свое дело знал.

- Виноват, виноват, - и впрямь виновато зачастил Гришанька. Сержант почувствовал в Иностранце высокую номенклатуру.

- Конечно, виноват, - подтвердил Иностранец. Теперь он смотрел на него с любопытством, - ладно, берите стул, присаживайтесь.

- Не могу. Спасибо, но не могу. Форма, сами понимаете.

- Ну, так переоденьтесь.

- Это можно. Я сейчас, мигом. Секунду, один момент.

- Ничего, ничего. Мы не торопимся.

Гришанька скрылся в кулуарах "Огней Колымы", в это время музыка смолкла, пришел Копылов-Особый.

- Как вы тут, а? - Он хотел услышать в свой адрес что-то вместо аплодисментов.

Я сказал: "Бесподобно!" Иностранец добавил: "Неотразимо!". Элли - "Мне понравилось", а Марфинька все-таки похлопала. Степан Иванович беззлобно ответил ей: "Дура ты, ангел мой".

- Ну, вот и нарвалась на нечаянную ласку. Умничка, Тюня. Налейте умнику. - Попросила Марфинька. Иностранец налил умнику, а заодно и всем остальным. Тут как раз подоспел Гришанька в штатском, и получил свою порцию "Окейи".

- За что выпьем?

- За милых дам, - это, конечно, Элли.

- Что ж. За дам. Господа гардемарины!

Потом каждый занялся своим делом. Разговором, ужином, сигаретами "Пэлл-Мэлл" и Марфинькиными маслинами. На них налегал сержант Гришанька.

Видно было, что что-то его мучает.

- Мужики, а что за напиток то? Вкусный, падла. А вот не поймешь - крепкий или нет. А может он вообще, того, безалкогольный, а?

- Сиди. - Внушительно произнес Иностранец. Минут через пять он спросил Гришаньку. - Ну как, на душе хорошо?

- Ох, мужики, слов нет. Очень хорошо. Я такого с собой и не упомяну. Чес слово, благодать какая-то снизошла. Че это такое,

- "Окейя". Напиток такой.

- Так он, того, с градусом все же, или нет?

- Тьфу, черт. - Рассердился Иностранец. — Я тебя спрашиваю: на душе хорошо?

- Да.

- Ну и какая тебе разница, с градусом он или нет? Сиди и не ерзай, а то больше не получишь.

- Градусы, градусы, - я думал, что подливаю масла в огонь, - про них даже филиппинцы не знают. Но это почему-то лишь успокоило Гришаньку.

- Да я сижу. Оно все-так, конечно. Только больно времена суровые насчет градуса настали. Особенно у нас, в органах. Ох, лютуют... А мы ведь тоже люди. Я, например, люблю это дело. Ну люблю и все. Как вот из положения выходить, а?

- Старина, но это же проще пареной репы, - на миг отрываясь от лосося сказал Степан Иванович. И тут же уткнулся в тарелку.

- Вы у нас прямо садовод-огородник, - заметил Иностранец.

- Я уже сказал, кто я. - с достоинством пробурчал Степан Иванович.

- Нет, мужики, погодите. А как это, а? - Сержант Гришанька малый любопытный. А тут дело касалось жизненных интересов. - Уж растолкуйте, если знаете.

- А тебя что, собственно, беспокоит? - Голосом столичного хирурга спросил Копылов.

- Ну... что... Ну, вот начальник наш, майор Детройто. Обещает, если запах там учует, или заметит, что под мухой, в порошок стереть. В мелкий дисперсный. О, волчара, а? В мелкий дисперсный... Или на какое-то озеро Тититакос сослать. Черт его знает, что за озеро, где оно? Около Эгвекинота, что ли? Да не дай бог... Здесь ведь у нас рай, Бухта - это ж почти курорт, Крым местный. Так-то, братцы...

Он посмотрел на Иностранца и замолчал.

- Ну, - опять спросил Копылов, - так чего же ты хочешь?

- Ну... как это... Ну, вот я ж говорю, что люблю это дело. Боюсь, сорвусь скоро, и загремлю на это Татитики. Ох, мужики, загремлю, чуе мое сердце. Так, а вы-то чего можете?

- А я могу помочь твоему горю. Значит, могу сделать так, что будешь стаканами спирт пить, а он на тебя действовать не будет. И запаха ноль.

- О, - обрадовался Гришанька, - неужто правду можете? А как, а?

- Так. Один знакомый бандидо научил. Не сомневайся, сержант, методика проверенная, населением испытанная.

- Кто научил?

- Бандидо.

- Ага, - поднялся Гришанька.

- Во, деревня-то. Да ты хоть знаешь, кто такой бандидо, а?

- Знаем, знаем... В рукопашных, значит, схватках встречались, по долгу, так сказать, службы, и по велению, так сказать, сердца.

- Постой. Не бандит, а бандидо. Вроде епископа или архимандрита у ламаистов. Буддистов. Я с ним в Бурятии познакомился, в монастыре, около Улан-Уде. Ох, кирял чувак, мужики, слов нет передать. А потом прижег сам себе уши, и хоть бы что. Теперь без всяких там ЛТП вылечился. Теперь молитвы отправляет своему Будде с чистой совестью.

Мы посмотрели на Марфиньку. Она улыбнулась и кивнула. Значит точно, не заливают нам Степан Иванович, правду говорит.

- Так это надо уши прижигать?

- Да что там прижигать. Одно название, что прижигать. Тут главное точку на мочке уха надо знать. Ну вот в нее и ткни тебе полынной сигареткой, и все, гуляй потом, от рубля и выше, ничего не бойся.

- Ох, ты, - заорал Гришанька. - Значит, сколь ни пей, все одно не напьешься, да?

- Да.

- Давай, друг, прижигай. Прижигай немедленно. Брошу пить, сколь же денег сохранится, опять же душа все время на месте, и этот, волчара, майор наш, фиг ему, а не Титикаки.

- Что ж, - деловито сказал Степан Иванович, - я то прижгу. Надо будет сразу действие проверить,

- А вот, - показал Гришанька на "Окейю".

- Как же, - ответил Иностранец, - так и дал я благородный напиток для пошлых социальных экспериментов.

- Ладно, я счас.

Гришанька побежал в буфет, а Копылов ему вслед крикнул: "Одну для мастера возьми". Он пришел с двумя бутылками коньяка, Степан Иванович к этому времени уже раскурил чудодейственную сигарету, и под наши шутливые реплики, резко ткнул горящим концом в мочку левого уха сержанта. Тот заверещал (интересный парень, этот сержант Гришанька), но ожег был моментальный, боль быстро прошла.

- Ну, - чуть ли не перекрестился Гришанька, - ну посмотрим...

Он взял бутылку коньяка, налил в здоровый граненый стакан, вдохнул в себя, и медленно начал пить. Мы замерли, наступило небольшое цирковое оцепенение - "смертельный номер". Он выцедил стакан, взял Марфинькину маслину, пожевал, потом сказал нам: "Мда... Ничо не понял".

- Пей, - чуть ли не приказал Иностранец.

Гришанька налил еще стакан, выцедил, допил первую бутылку, дожевывал маслины, нам он уже, честно говоря, надоел, мы и не заметили, что он потихоньку открыл вторую, выпил и из нее. Спихватился Копылов.

- Что же ты магарыч-то лакаешь? Нехорошо, больной.

- Эгэ... Я теперь не больной. Всю жизнь был больной, а вот с сегодняшнего дня - здоровый. Спасибо, мастер! Чес слово, не знаю как благодарить.

- Чего там, - заскромничал умелец-буддист, - коньяк больше этот не пей. Себе, если хочешь, еще возьми...

- Да на кой он мне теперь, - тихим криком разрядился Гришанька, - пусть его теперь серые волки покупают и пьют.

- Слушайте, сержант, бросьте вы орать, - одернул его Иностранец, - или, может быть, вы пьяны?

- Ни в одном глазу. Ладно, мужики, спасибо еще раз за все, пойду я. Надо кой с кем поговорить. Гришанька ушел.

- Толай, толай, - проворчал ему вслед весь стол. Кто про себя, а кто и вслух.

- Поваяло отхожим промыслом, - начал было опять задиаться Иностранец, но запнулся.

До меня быстро дошло в чем тут дело. Просто огромная ладонь Элли переместилась со спинки стула на худое плечо Марфиньки. Просто, да не просто...

Иностранец в упор смотрел на них и молчал. Они, казалось, не замечали его взгляда, а потом Марфинька отодвинулась от Элли и улыбнулась: "Иностранчик."

Смуглый Иностранец побелел. Ясно, что не от счастья.

- Иностранчик... Ты помни, что тебя ждет.

Он помнил. И я, конечно, все помню. Правда, так же, как и он, не все понимаю.

В школе они не расставались. И после школы старались. И я уже им мешал. Хотя они пытались быть тактичными, но что тут поделаешь - любовь... До друзей ли. Я-то понимал. Пытался не мешать, хотя и грустновато было. Ведь кроме Марфиньки и Иностранца не было друзей. Только хорошие знакомые, да приятели. Были, правда, и нехорошие знакомые. Были - чего скрывать.

Первый раз Марфинька "сделала стойку" (это гипербола Иностранца), когда Иностранец научил умудренному меня и печных дел мастера – Егорыча.

Вот. А расстались они уже почти взрослыми. Отца Иностранца давным-давно перевели в Иркутск, а потом и в Город, Иностранец от радости ходил в церковь свечки ставил, а Марфинька твердил одно: "Этот университет - филиал сельского клуба. Он не для меня. А не для тебя - весь этот провинциальный Иркутск".

Они - Иностранец, отец, и мачеха (Клавдия Николаевна к тому времени уже в живых не было), пригласили Марфиньку приехать погостить на несколько дней. Мы с Иностранцем второй год учились на филфаке этого филиала, а Марфинька присматривала, так сказать, за Степаном Ивановичем в Чомбее. Жила она с тетей Таней, ни дяди Гриши, ни моего отца тоже уже не было на свете. Такие печальные факты действительности, и больше по этому поводу я ничего не скажу - все позади, а вспоминать больно.

- Ну что ты, Марфинька, - тихо и с оглядкой говорила мачеха Иностранца, - зачем он тебе нужен? Бросит он тебя когда-нибудь, помани мое слово. Лучше уж не рисковать...

- А я и не рискую.

- Да, да, конечно, милая, - скорбно смотрела на нее благодетельница.

Этой женщине было невдомек, что Марфинька душой не кривит. Хотя потом, когда та ушла, мачеху тоже заело. Удивительно... Ведь даже больше, чем заело. Ее трясло от ненависти к нашей Малышке. Однажды она ворвалась в комнату Иностранца в самый неподходящий момент. Ходила, ходила вокруг да около, а потом не выдержала - распахнула дверь, и вбежала с какой-то нелепой фразой. Иностранец гневно уставился на нее, а Марфинька накрылась простыней с головой и лежала сначала молча. Белый тонкий материал - в доме Иностранца любили тонкие вещи - рельефно подчеркнул изящную фигуру Марфиньки. Неродной маме Иностранца от этого стало совсем плохо.

- Хватит, - орала мачеха, - не расписаны, не зарегистрированы, это же я не знаю, что у нас в доме творится, я не потерплю, если отец молчит, значит все можно, а где ее девичья честь...

Вот тут-то Малышка и раскололась. Она захохотала под своей простыней, согнула ноги в коленях и сломала белоснежный рельеф. Мачеха в полной (полной) мере прочувствовав свою беспомощность, скорчила какую-то жалостливую гримасу и захныкала, а Иностранец смущенно улыбался.

- Вот дура, - сказал он наконец, - городит че попало. Хотя, если вдуматься, кое-какое рациональное зерно в ее рассуждениях есть. Надо идти в ЗАГС, Малышка.

- Зачем?

- Жениться будем.

- Зачем?

- Затем. Скоро закончу университет, на работу приду устраиваться, так лучше в анкете написать женат, чем холост.

- Зачем?

- Солиднее.

- А вот так еще солиднее - напиши в этой графе: влюблен.

- Глупышка ты моя.

- Нет, ребята, это уж даже для меня слишком. Малышка-глупышка, да еще лишенная девичьей чести...- Марфинька сделала скорбный вид.

- Что ты птичка, я же любя...

- Ладно. Любя так любя.

Марфинька спокойно оделась и пошла на кухню варить борщ. Домработницу они в преддверии переезда рассчитали, а на мачехе в этом смысле где сядешь, там и слезешь.

А вечером Иностранец метался по комнатам уже почти бывшей иркутской квартиры, и кричал мачехе: "Если она не вернется, считай, что и ты в нашем доме персона нон грата".

- Первый раз слышу, чтобы на персону нон грата так орали, - только и успел вставить в яростный монолог короткую реплику отец.

Марфинька улетела в Чомбей на В-5, рейсе, который, как всем известно, вылетает из Иркутска в четыре часа дня с посадкой в Киренске. Около одиннадцати вечера тетя Таня сказала ей: "Да подойди ж ты к телефону, бессердечная, а то ведь и парень чокнется, и телефон лопнет".

Они недолго разговаривали. Потом Иностранец, сверкнув еще раз глазами на мачеху, собрался, хлопнул дверью. Вернулся под утро. Начал было петь песню «Ой, мороз», но как-то странно путал слова, и даже строчки. Например, он пел: "а вернусь домой - напою жену, обниму коня". В комнату, запахнув халат, зашел отец, прислонился к дверному косяку, и посмотрел на Иностранца. Тот тоже замолчал. А потом рассказал ему о переговорах с Марфинькой.

- Что, - императивно давил на ненадежную подругу Иностранец, - всю жизнь в Чомбее хочешь прожить? Неоригинально и банально.

- Иностранчик, да при чем тут Чомбей? Сам ведь понимаешь, что дело не в нем.

- Я понимаю. Я все понимаю. ты уехала возиться с этим полудурком, который, между прочим, в друзьях у наших, мягко говоря, не числится.

- Не числится... Ну что ты говоришь. Наших-то уж нет почти.

- Ну, нет. Так что, все забыть теперь, что ли? Да я его знаешь, где видел...

- Хватит, хватит о нем. Давай о тебе.

- А что обо мне, - замолчал Иностранец.

- Ничего узнать не хочешь?

- Сама говори, - буркнул Иностранец.

- Что тут скажешь? Все будет. Все у нас с тобой еще будет. Но очень, очень не скоро. Я тебе обязательно понадобится. Но не сейчас. Не сейчас. Но без меня тебе не прожить. Знай это. Помни. И ничего не бойся. Пока я жива, ничего не бойся, и не жди меня. Я приду, нет, не приду, вернусь, сама.

- Ты любишь... Ты меня любишь?

- Не надо, Иностранчик. Не надо об этом. Помни, что я тебе сказала. Помни. Не забывай об этом разговоре никогда.

- Прощай, Малышка.

- Не прощай. До свидания, мой Иностранчик, до свидания мой хороший.

\*\*\*

Элли и Марфинька в очередной раз пошли танцевать, а после танца исчезли. Иностранец совсем пригорюнился, Степан Иванович сидел на стуле криво, но говорил без всяких пауз, непрерывно, а мне, как и прежде, было хорошо.

Откуда-то из коридора, издалека, раздалось сопение, а потом и вопль: "А де эта сука, ище здесь?" Гришанька ввалился в зал через узкую стеклянную двухстворчатую дверь, распахнув ее, по-моему, своим крепким лбом. Он увидел нас и, несомненно, обрадовался. Гришанька был пьян в лоскуты. Он сделал шаг к столику, закричал: "Урою я тебя, Батаич", споткнулся об оленью шкуру на полу, и упал. Лежал он долго, несколько секунд. Молча и неподвижно.

- Че это с ним? - Испугался Копылов-Особый.

- Что, что... Пьян как свинья, не видите, что ли.

- Не может быть. У меня проколов не бывает. Если только... - Степан Иванович прикусил губу.

- Батаич, - рыдал Гришанька, - Батаич, пришки мне уши фзат.

- Куда? - Совсем растерялся бандидо. Потом сообразил. - А зачем?

- Сучий ты потрох. Я щас в дежурке с Филатовым сока вишневого на халяву три стакана выпил...

- Мда... В дупелину. Слышь, мужики, это я зоны перепутал. Он теперь от колодезной воды балдеть будет.

- Какие зоны?

- Да на мочке. Ничо, дело поправимое. Гришанька, а ты уж напоследок спой нам че-нибудь,

- Ой, Батаич, урою я тебя. Че петь-то?

- Живет моя отрада", - заказал Иностранец.

- Кончайте, мужики. Степан Иванович, вы если что-то можете, так действуйте, - прекратил я этот цирк волевым усилием.

Степан Иванович начал скручивать новую полынную сигарету, а мы с Иностранцем подняли Гришаньку с пола и усадили на стул.

Гришанька с него сначала упал, но потом догадался вцепиться в кромку стола. Он уже не рыдал, но слезы еще катились по грязному лицу.

- Филатову посылка большая с материка... Я сала попробовал, потом сок этот... А Филатов говорит, ты че это надрался, а я его за кобуру схватил, и мордой об стол... А потом совсем уже развезло, и майор Детройто пришел... Ты говорит, подлая тварь, и не место тебе в рядах... Это мне-то не место? Да мне только в рядах и место! - заорал на все "Огни" Гришанька. А потом опять сник. Вишневый сок давал себя знать.

- Послал я его. Дальше этого, Татаки. И к вам. Кое-как дошел... Урою я тебя, Батаич... - соскользнул локтем со стола Гришанька.

- Нет повести печальнее на свете, - подытожил Иностранец.

- Молчи, падла, - посуровел лицом Гришанька.

- Молчу, молчу...

Степан Иванович раскурил, наконец, коварную сигарету, посвященно действовал над ухом бедняги, и опять куда-то ткнул. Гришанька дернулся, точно так же, как в первых раз. Потом он немного посидел смирно, все еще соскальзывая локтем со стола. Зрачки у него расширились, а глаза сузились. Он помотал головой, послал кудесника по матушке, но уже трезвым голосом.

- Как бы его инфаркт не хватил от переживаний, - заботливо сказал Степан Иванович.

- Меня не хватит. Меня ничо не хватит. А вот тебя. А ну вставай, барелина...

- Кто? - В который уже раз удивился Иностранец.

- Балерина, - догадался я.

- Интеллигенты вшивые. Вставай, ламаист, пойдём в отделение.

- Это еще зачем?

- По закону отвечать. Получишь сёдни, всё, чё тебе положено. Вставай, говорят тебе, - Гишанька уже орал.

- Тихо, тихо, сержант, - сурово приказал Иностранец. Но Гришанька уже совсем ничего не понимал. И Иностранец для него в таком состоянии был не авторитет,

- Сошел с рельс, парнишка. Сейчас наган достанет. Придется идти, Степан Иванович.

- Да вы че, мужики... Да вы че, мужики... Да не пойду я никуда. Хоть убейте, не пойду.

- Пойдешь, - разорвался сержант Гришанька, - за неповиновение три года добавят. Если я тебя, суку, при попытке к бегству не пристрелю. Пойдешь...

- Во, маньяк-то. Нет, правда, придется идти, он же сейчас прямо здесь пальбу устроит. Конечно, "Огни Колымы" не какая-нибудь забегаловка. Видели они разное, потому что в Бухту кто только не приезжает. И все сразу сюда. Но перестрелки еще не было, это мне достоверно известно. Элли бы сразу похвастался.

- От гад собачий, - совсем расстроился Бандидо, - мне только ментовской сейчас не хватает. А Малышка теперь со света сживет. И че я с ним связался...

Он тяжело, по-стариковски, поднялся, и, шаркая ногами, побрел к выходу. Гришанька его прикрывал сбоку и сзади.

- Эй, Степан Иванович, мы сейчас. Расплатимся и придем. Не журишь...

- Давайте, давайте, - пригласил Гришанька, - к нам войти легко, да выйти трудно. Так что...

Морячки грянули "Прощание славянки".

Я расплатился. Иностранец, чертыхаясь, взял свой кофр, и мы тоже двинулись к бухтинскому райотделу.

Пока рассиживали, солнце опять поднялось. Почти что белая ночь, по-бухтински только. Нет, все же это удивительная штука. День стоит, а народ как повывмирал. Тихо в Бухте. Спокойно.

- Слушай, чего мы сейчас в эту катавасию полезли. Сами только застрянем. Гришанька прав, к ним стоит лишь зайти...

Иностранец как-то непривычно посмотрел на меня, тяжеловато. Потом сказал: "А как же старый селадон?"

- А что о нем до завтра случится? А завтра по утру или мы, или Марфинька, выручим.

- Неа. Так дело не пойдет. Во-первых, я эту милицию знаешь, где видел? Во-вторых, если Малышка узнает, что мы сразу в драку не полезли, она же и нас загрызет. В-третьих, старика жалко. Да что ты их боишься? Гришанька - яркий представитель, щас вмиг разберемся.

- Ну, гляди. А вообще-то оптимальный вариант...

- Идем, идем. Не рассуливай.

Райотдел недалеко, рукой подать. Мы подошли к двухэтажному старому зданию. Стены его подперты огромными столбами. Но на Пизанскую башню райотдел не похож, хотя угол наклона, кажется, тот же самый. Что поделаешь - Бухта, строить здесь дорого, потому и стараются люди использовать любое строение до предела.

- Ну, что, помолясь, - сказал Иностранец и решительно поднялся по ступенькам. А за ним я.

Просторная комната, в которой сидели Гришанька с Филатовым, залита светом дневной лампы.

Через плексиглазовую перегородку видно, как Гришанька протирает тряпочкой свой "Макаров" - наверное, уже сдавать собрался, а Филатов что-то пишет. Они молчаливы, и чем-то подавлены.

- Во, пришли, - обрадовался Гришанька. - А чего ты сияешь? Слушайте, мужики, а кем теперь Батаич работает, а?

- Вольным художником, кажется. А может альпинистом. Точно не знаю, - сурово ответил

Иностранец. Он все же старался давить на сержанта своим авторитетным видом.

- И здесь наврал.

- Что наврал?

- Да я когда протокол заполнял, он мне сказал, что ренегатом работает в агропроме. И что это за должность за такая?

- Слушай, Гришанька, а ты не пробовал в вечернюю школу записаться, а? Тебе не помешает.

- Во, в школу, - обиделся Гришанька. - А бандюг кто обезвреживать будет? Он, что ли?

Гришанька кивнул на толстого и добродушного Филатова. Филатов дернулся, хотел что-то сказать, потом просто махнул рукой,

А ведь ловил Гришанька бандитов. Как бы мы к нему не относились, а факты - это факты. Ловил! И недавно одна из таких поимок чуть было не кончилась для него трагично. История эта и серьезная, и печальная, и поучительная.

Полгода назад в Бухте появился садист и насильник. Хотя больше насильник и совсем немного - садист. Девушек розового возраста совсем перестали выпускать по вечерам на улицу, дамы постарше ходили с оглядкой. Но ничего не помогало. Раз в неделю преступник аккуратно делал свое черное дело. Был он пунктуален, изощрен, хитер и холоден. Последнее особенно угнетало пострадавших. Ледяная душа была у мерзавца.

Гришанька долго думал, анализировал, рассчитывал. Прикидывал, сопоставлял. Даже графики чертил. Потом доложил майору Детройто: насильник появляется в разных местах Бухты, в разное время дня и ночи, но кое-что постоянное в его поведении есть. Это-то постоянное и знает теперь Гришанька.

- Товарищ майор, - волнуясь говорил сержант Гришанька, - в четверг у бензосклада погранцов, клянусь, появится.



- А кто там... Там же и нет никого. Баб, я имею в виду. За складом тундра, а перед ним пустырь, Кто туда попрется-то?

- Э, а сторожика Валька Грошева?

- Да ты че, сержант? Кто же Вальку насиловать-то станет? Да она сама кого хочешь...

- Значит, не -верите, товарищ майор, моим расчетам? - Горько заключил Гришанька.

- Да нет, почему. А что предлагаешь-то?

- Есть тут маленький план, на живца возьмем... Значит так: Вальку к черту, пусть сидит дома. А я переоденусь в ее задрюпанное платьице, косынку заберу, Филатов мне макияж сделает. Не уйдет, товарищ майор.

- Значит живец - это ты... Да. Рискованное дело, - теперь уже и Детройто задумался. - А если он того? Ты по описаниям прикинул, сколько в нем весу?

- Килограмм сто. Не меньше, во всяком случае.

- А в тебе?

- Шестьдесят пять, товарищ майор.

- То-то и оно, что шестьдесят пять. Тут беда может приключиться, сержант. Нет, так я не могу разрешить операцию. В принципе согласен, но надо детально разработать, создать группы подстраховки, захвата...

- Все испортим, - убежденно ответил Гришанька, - у него интуиция зверя. Нельзя, товарищ майор. Тут если что и выйдет, то только один на один.

- Ладно. Иди. Я буду думать.

Но долго ему думать не пришлось. Часа через два после пылкой беседы с сержантом Гришанькой, взвизгнул телефон особого назначения - связь с бухтинскими начальниками разных мастей. Звонил полковник Треухов, командир, депутат, член бюро, да и просто, сами понимаете, полковник. В отличие от майора Детройте. И состоялся любопытный разговор.

- Ты что там себе думаешь? - Добродушно, но строго спрашивал Треухов. - Ведь сбесились бабы. Все на этого, насильника велят.

- Мы работаем, Андрей Владимирович, - сухо, но с достоинством отвечает Детройте. Полковник полковником, а ведомства-то разные.

- Работаете, - уже раздражаясь, вспыхивал нервный полковник. - А то, что у моей Любки на заднице пятерня. И она, сволочь, врет, что это ее насильник изнахратил, и улыбается как...

- Американцы в таких случаях говорят: но комментари.

- Ну так я тебя как американец американца спрашиваю, - не испугался старый воин, - это такая твоя работа, да? Ты, Детройто, смотри, я еду, еду, не свищу, а как наеду... Короче, к субботе не поймаете, будешь на бюро отчитываться, понял?

- Понял, - говорит Детройто, и с удовольствием воссоздает в памяти образ Любки, молоденькой жены старенького - уже за пятьдесят - Треухова. Четвертой, между прочим, жены. Потому и генералом не стал. У них в армии на это дело особый взгляд.

- Гришанька, - нажимает на селекторе майор Детройте Он смотрит на свою железную кисть, вспоминает коlobber Треухова с его добродушными лапами, и опять улыбается.

А через полчаса сержант Гришанька уже запугивает Вальку Грошеву, не желающую расстаться с платьишком и косынкой,

- Ну, ладно, оперативная тайна, - гундосит Валька, - а куда оно тебе-то?

- Я ж говорю - тайна. Оперативная. - В который уже раз вдалбливает Гришанька непонятливой и непокорной сторожихе. Он рассматривает ее широченные бедра и думает, прикидывает, как быть с платьем. Размеры явно не его.

Потом и терпеливый сержант не выдерживает.

- Давай платье, зараза, а то ты у меня еще в "Огнях" появишься, я тебе коктейльчик-то приготовлю, ты у меня северное сияние не пить, а только наблюдать будешь...

- Да бери, мне че, жалко, что ли, - уже по-настоящему пугается Валька, - слава богу, на платья зарабатываю, на чужое не зарюсь..

- Поговори, поговори, - сержант Гришанька ловко упаковал платье в полевую сумку, и умчался в райотдел.

А там - макияж, инструктаж, последние приготовления, пистолет за пояс, но на поясицу, присели перед операцией, есть такая добрая традиция в Бухтинском райотделе милиции.

- Давай, сержант, ни пуха, - говорит Детройто, - хотя...Знаете, у Конфуция есть: "Трудно поймать кота в темной комнате, особенно если его там нет вовсе".

И он опять как-то странно - мягко и задумчиво - улыбается.

- Бонифация.

- Чего? - Недоумевающе смотрит Детройте на Гришаньку.

- Я говорю, кота не Конфуцием, а Бонифацием зовут. . .

- О, господи, - машет рукой майор, - ладно, действуй там согласно разработанному плану, зря не рискуй, ты нам, Гришанька, живой и, главное, невредимый, нужен. Понял?

- Слушаюсь, товарищ майор, - сурово отвечает Гришанька, надевает поверх маскарада огромный тулуп, и скорбным шагом удаляется.

В Бухте живет много оригиналов, причем большинство оригинальничает не по собственной воле. Так судьба сложилась. Гришанька лишь бледный оттенок на их мощном фоне. Он крадется к сторожке на пустыре, так, чтобы по дороге никто не заметил, и не понимает, что давным-давно пора уже ему сматываться в свой родной Краснодар...

Сержант отмычкой щелкнул замок, убрал длинный пробой, уселся в домике. Свет не включал, растопил лишь небольшую печурку. Она быстро прогорела, и малиновый спекшийся уголь давал чудной отсвет. Гришанька сидел лицом к окну, спиной к двери, его аж подташнивало от волнения.

Сержант гнал дурные мысли, но то, что может с ним произойти через каких-нибудь полчаса...

Гришанька смотрел на аккуратные женские часики, взятые на память о мадам Пугачевой с ее комода еще в сержантском детстве, и вытирал о подол Валькиного платья свои мокрые ладони.

Не таясь шел к избушке сторожики Плюрал Угандович Небарин.

Многое ему пришлось в жизни повидать, насмотрелся, но чтоб такое... Через несколько минут он узнает, какое.

И Валька Грошева места себе не находила. Ей уже пора было собираться, они с Плюралом должны встретиться задолго до дежурства, а на душе было беспокойно, не так, как всегда. Гришанька чертов засел в мыслях.

Плюрал Угандович зашел в избушку, и весело сказал неизменное: "Соскучилась, птичка? Ну, раздевайся, ложись, рассказывай".

А Валька Грошева, в эту минуту совсем затюканная непонятным тревожным чувством, бегом бежит к месту работы и свидания с ненаглядным. Она шепчет: "Я же задавлю этого гнеденыша, если что". Недоумевающий Плюрал Угандович, молча, борется с сопящим Гришанькой. Гришаньке бороться тяжелее: он действительно меньше Небарина, и еще он помнит, что противник, помимо всего прочего, может покуситься на сержантскую честь. Гришанька руками и ногами принимает необходимые меры, и это отвлекает его от основной борьбы.

Плюралу мешает бороться шок удивления. Оно и понятно: удивишься тут, когда вместо любимой получаешь в объятья вурдалака в ее же платье и с прощупывающейся кобурой на заднице. И когда этот полумужик, или эта полубаба, наконец, прохрипело: "Сука", Плюрал Угандович посмотрел мельком в красное от напряжения лицо с размазанной краской, с потекшей от пота тушью, и ответил: "Это я-то сука? А ты кто же тогда?"

Валька Грошева, увидев снятый пробой, не умом, сердцем все поняла. Она тайфуном ворвалась в сторожку, отбросила Плюрала, взяла Гришаньку за оттопырившуюся под рейтузами при задранный подоле собственного платья кобурку, подняла, и начала неистово хлестать. Плюрал Угандович посидел в углу, потом поднялся, подошел и отобрал Гришаньку. Его мощная грудь ходила ходуном, и сквозь порванную рубашку и густейшую смоляную поросль было видно, что вместе с грудью волнуются силуэты вождей, вытатуированные много лет назад недалеко от этой серьезной избушки.

Когда к ним мирным, неслышным котиным (аккурат сто килограмм) шагом зашел Детройто, то ему стало не по себе: пришибленный Гришанька сидел в углу и старался перевыть сторожиху Вальку Грошеву, ревущую хорошим басом. Плюрал Угандович шмыгал носом и вытирал крупные беззвучные слезы.

Пожалуй, нет в Бухте людей более деклассированных, чем Плюрал и Валька. Тут вообще-то трудно ухватить какую-либо пальму первенства, все, видишь ли, люди непростые, или почти все, и по части разного рода лишений тоже вперед не очень-то вырвешься. Когда-то Гулаг для многих кончался в Бухте. Плюрал и Валька смогли, но больше не из-за внешних обстоятельств, а в силу своих характеров. Оба два такие обалдуистые, что... Впрочем, ладно. Кому это приятно.

Но и более безобидных людей здесь тоже нет. Плюрал свой первый срок получил еще черте когда, и за что: читал Есенина на палубе сейнера, - чистым и румяным тогда еще был штурманец, родом из Владимира. Ну а потом жизнь покатила-поехала. В лагере ему задурили башку, ограбил после срока с "учителями" сберкасса во Владике, потом еще за что-то сидел, и после третьего срока начал честную жизнь, начал мыть золото. Где он его только не мыл (и в Чомбее, кстати, тоже, но недолго, уж не знаю почему), и за Уралом, и в Средней Азии, но лучшие года жизни провел все же на Колыме. Он и сейчас работает в старательской артели, сезон отпашет, потом полгода семейной жизни с Валькой в Бухте. На материк не ездит уже давно, хотя денег, как вы сами понимаете, у него куры не клюют.

Забегая вперед, скажу, что после этого случая в сторожке, дикого и нелепого для кого-то, но не для Плюрала с Валькой, они уехали в Магадан, Плюрал купил трехкомнатную кооперативную квартиру, по которой теперь ходит счастливая беременная сторожиха. На ногах у нее длинные шерстяные крупной вязки черные носки.

Валька в Бухту тоже долго катилась. Была когда-то очень молодой, очень красивой, и очень глупой. Тут уже ничего не поделаешь. Эти три достоинства почти всегда рядом ходят. В Городе Валька работала секретаршей у начальника главка. В том главке традиции были традиционные: всех молодых смазливых девок начальство делило между собой. Валька, естественно, принадлежала своему шефу. Хорошо бы, если б только телом. К сожалению, девчонка влюбилась в старого пня с въевшимися руководящий замашками, персональным автомобилем, загранкомандировками и блестящим тяжелым черным бумажником. Он жил один, жены давно его бросили. У одной рос сын. Вот на сыне-то все и сошлось. Повелитель однажды не подумал и достал две путевки в ведомственный санаторий: молоденькой любовнице и выросшему чадунюшке. Отрок был уже довольно приличным громилой, Вальку же он попросту изнасиловал на третий вечер гуляний по ночному морскому берегу. К концу сезона она не отставала от него, а парень не знал, как избавиться от назойливой девушки. В Городе он (хотя, конечно, никто его к тому не принуждал) первым делом покаялся отцу. Ясно, что не без умысла покаялся. Стояло за всеми этими событиями жестокое и затравленное мальчишеское чувство мести, давней и глубокой.

У папеньки были твердые жизненные правила. Он называл их принципами. И не поступался ими никогда. И Валька для него не стала исключением, хотя, должен заметить, привязался он к ней сильно. Приятель, медицинский академик, объяснил ему, что у них это называется физической абстиненцией: любви нет ("каво любить-то"), а тело не отпускает. Но все же он Вальку из главка турнул, и от семьи отлучил. Выдержал характер: победил разум, взял верх над нервными окончаниями. И такая жизненная малость стала для будущей сторожихи настоящей трагедией. Она недолго болталась без работы. Встретила девчонку из их класса, попала в "Континенталь", уже через месяц-другой стала путаной, у нее получилось, иностранцы здорово клевали на фигуру, потом начала приторговывать тряпками, потом валютой, и закончилась жизнь в Городе судом за участие, правда, пассивное, в нелепом ограблении квартиры пожилого шведа из какого-то московского отделения американской фирмы. В суд подала жена. Вернувшись из Стокгольма, застала муженька с Валькой в русском запое, да и вещей недосчитала порядочно. Их потом нашли у Валькиных друзей и подруг.

Вот так Валька попала на Север. Сначала в Норильск, из Норильска перевели в Дудинку, там заразила дурной болезнью человек пятнадцать, несмотря на предупреждения, и тогда уж терпение лопнуло, Вальку сначала засадили в НКВД - Норильский кожно-венерологический диспансер, вылечили. и дали три года. После тюрьмы Валька успокоилась, а в Бухте встретила Плюрала. Тут, понимаете, какая штука: им никто не нужен был. Насмотрелись они на людей, наобщались с ними, да и натерпелась от них... Слава богу, что друг друга нашли. А то неизвестно еще, чем каждая жизнь закончилась бы - по отдельности. Но люди им были не нужны, это факт. Они с ними разговаривали, пили, ели, даже плясала Валька в "Огнях", да что это... Чувствовали и в одиночестве, и в толпе, только друг друга. Но если общение с себе подобными доставляло им мало радости, то и обид от них никто никогда не испытал. В Бухте, по крайней мере. А в Бухте, слава богу, человеческую душу понимают. Хотя, конечно, по-разному, всяк по своему.

- Что же вы, Небарин? - Осторожно спросил Детройте - Уж от вас не ожидал, Плюрал Угандович. Опытный человек, несложно ведь понять...

- А-а-а, - забасила Валька, - ублюдки, нигде от вас покоя нет. И здесь достали, менты разноцветные, за что, господи, за что...

- Цыц, дура, - прошипел Детройте.

- Ты, майор, не цыкай. Забирай, Детройто, своего пашенка, и убирайтесь отсюда. Теперь, сам понимаешь, времена такие, что если я молчать не стану, не он, а ты, на Тититакки окажешься. А верней, что вместе, - сказал наконец Плюрал.

- А нападение на работника милиции? - уныло спросил Детройте.

- Слушай, ну не дурак же ты. Говорят, иди, идти значит надо. Привык, понимаешь, вечно верх держать. А ну, дергайте, - и хозяин гостеприимно распахнул двери сторожки.

В отделение добирались задворками. Опять задворками. Майор шел пунцовый от злости. Гришанька молчал. Потом Детройте спросил: "Слушай, ну а как же это ты его вычислил-то? Как вычислял?"

- Да что... Какие уж вычисления. Так, для близиру. А вообще чутье подсказало.

- Классовое, - с досадой усмехнулся Детройте.

Лишь только после этого случая туман фрейдизма рассеялся над Бухтой. Теория либидо, которую начитанно-неистовый начмил поверял практикой, принесла ему выговор без занесения - и еще, разумеется, массу удовольствий. Впрочем, не только ему одному. А Гришаньку не тронули. То ли по причине беспросветной глупости, то ли от того, что все прекрасно понимали, кто заставил теорию давать сбои. Доблестный сержант. И один только доблестный сержант этого не понимал. Считал, что ловил бандита, да промахнулся немного.

\* \* \*

- Ну ладно, лирику в сторону...

- Каку таку лирику?

- Ну, хронику... Где наш подопечный? - Насел на Гришаньку Иностранец.

- Ишь, подопечный... Стрелять таких подопечных надо. Танками давить. Ухо болит, с похмелья все ломает, денег на две бутылки коньяка засадил, а нажрался соком паршивым...

- Это твои... Пардон, ваши проблемы. Так где же Степан Иванович?

- Лейтенант допрос снимает. Все, допрыгался, ваш Батаич.

- Ну, ну, допрыгался. В каком они кабинете?

- В двадцать первом. По лестнице на второй этаж, так направо, - первый раз подал голос Филатов.

- Ха, второй этаж. Чердак, а не второй этаж. И лейтенант в очке сидит, - глумливо комментировал сержант Гришанька.

- Если вы, сержант, позволите еще раз сегодня что-либо подобное в адрес райотдела, - начал вставать со стула Филатов.

- А че ты заступаешься? Че ты заступаешься? Ты думаешь, если я на Кикитати вылечу, ты долго здесь продержишься? Да через неделю...

- Я? И ты?! Через неделю? Ну ты и сволочь...

- Пойдем, - улыбнулся Иностранец, - ну их, пусть разбираются.

Мы поднялись по крошечной рассохшейся лесенке на падающий второй этаж, разыскали кабинет под двадцать первым номером, Иностранец постучал.

- Войдите, - ответил знакомый голос.

За столом - по разные стороны - сидели Степан Иванович-Батаевич и старлей Серега Колесников, злой рок Витьки Салахова. Серега верховодил в беседе, и нас встретил приветливо.

- Садись Рогов, садись Иностранец, щас я закончу, побазарим, вспомним, споем...

- Сесть мы всегда успеем, - буркнул я, и мы с Иностранцем сделали сиддаун у стенки.

Пока сидели, я подумал: что такое? Откуда он Иностранца знает? Наверное Копылов-Особый уже заочно познакомили

А Иностранец нежно косился на меня: мол, он даже в таких ситуациях себе банальностей не позволяет.

- Да... А твои каламбуры?

- Ну, мои каламбуры... мои каламбуры, это же... Это совсем другое дело. Понимаешь меня, старичок?

- Понимаю.

Нет, откуда все же Серега Колесников его знает, а, граждане?

- Так вот, этот... бандидо его зовут, - жужжит за столом Степан Иванович, - он мне и говорит, товарищ старший лейтенант - ты, говорит, Степа, если ремесло у меня переймешь, как у Христа за пазухой остаток жизни проживешь.

- Это как же: ламаист и - у Христа за пазухой?

- Ой, и не говори, Серега.

- Старший лейтенант Колесников.

- Ну я и говорю, продажный мужичонка был, его помани, он и католиком заделается.

- Ну, Бог с ним. Дальше что, по существу?

- По существу, жил в монастыре пять с половиной месяцев, колол дрова, так, помогал ламаистам по хозяйству и учился у...

- Получалось?

- Не сразу, не сразу... Дело тонкое, что и говорить. Но в конце концов освоил, начал прижигать уши буддистам - довольны были. Ну вот, а в Чомбее поставил дело на широкую ногу. Мужики у нас современные, но никто пить бросать не хотел. Зато все хотели курево бросить. А мне что? Тут вся разница только в закруте сигареты, а прижиг почти тот же.

- Что же вы там сегодня не практикуете?

- Место неудачное у нас для моего лечения. Тут, понимаешь, какое дело: после прижига тебя дым достает. Нюанс зловредный для меня оказался. Главное дело, водка хоть бы што, жри ее заразу, она как вода для тебя, а дым человека выворачивает. Не только сигаретный - любой. Я весной человек сто прижег, а прошлым месяцем у нас тайга занялась гореть. Чомбей, это всем известно, в котловине стоит, дым из распадков задушил город, на улицах машины днем с зажженными фарами ездили. Ну и ребятам плохо пришлось. Полбольницы ими забили, на кислородных подушках почти месяц держали. А потом пожары отошли, ну и ребята оклемались. Ну и сами понимаете...

- Так это вы из-за них в Бухту эмигрировали?

- А из-за кого же? Из-за них, конечно. А кто же знал, что так дым доставать будет? Дело для меня новое, больше теорию знаю, ну, теперь вот и практики поднабрался.

- Так, значит, из-за бедствующих мужиков, - иронически протянул Серега, - ну, будь по-вашему, в конце концов, это дело не мое. А вот скажите, Степан Иванович, а как вы в Бухту добирались.

- Ну, как добирался...

- Самолетом?

- Ну, а как же, самолетом... - мялся-маялся Копылов-Особый.

- Самолетом?! Ну, ну. Самолетом. Ладно, и это тоже дело ваше. Личное. Как хотите, так и живите...

В этот критический для бедного врачевателя момент снизу донеслась раздольная песня, исполняемая пьяным колоратурным сопрано: "Дура, дура, дура я, дура малохолдная"...

- Опять концерт, - поморщился Сергей Колесников, - это одну постоянную привезли. "Зебра" кличка. Пойду убавлю звук, она кроме меня никого не боится, даже Детройто.

Сергея вышел. Степан Иванович сидел, уставившись в одну точку, на нас он не обращал никакого внимания.

- Слушай, а ты откуда старлея знаешь? - Шепотом спросил я. Иностранец опять поглядел на меня искоса и лукаво, помолчал, а потом сказал: "Мы с Сергеем Колесниковым в Высшей школе профдвижения на двухмесячных курсах учились".

Если бы он сказал, что они в джунглях Амазонки познакомились, я бы меньше удивился. Никогда, за это я отвечаю, никогда Иностранец ни на каких курсах в Высшей школе профдвижения не учился. А уж Серега Колесников... Что и говорить, не тот характер, не для этого колледжа.

Я молчал, переваривал, тут вернулся Серега Колесников.

- Вот так и живем, - развел руками, - серо и буднично.

И концерты дают не мастера искусств. Да че говорить - Бухта...

- Брось, Серега. Думаешь, в Городе лучше жить?

- Да, хорошо там, где нас нет. Это точно. Ну, как ты, Публицини?

Публицини - так они меня звали в казарме и на КП. А больше почти и негде было. Так ведь, старина, так ведь, братишка...

- Ну, почему же... А помнишь, стройбатовцы рядом с нами баржу разоружали, и в трюме на коньяк напоролись?

Помню. Это были бухтинские штрафники-стройбатовцы. У каждого на гражданке был срок, у кого и по два. Работали они и в пургу, и на морозе: клали кирпичи, жгли костры, растепляли мерзлоту, а в казарме капитан Коляник с пудовыми кулаками... Да, доставалось ребятам. Впрочем, иначе их было не унять. И мы в этом убедились.

Они весь коньяк Бухторга себе в казармы перенесли. Сначала никто ни о чем не догадывался, а когда спохватились, поздно было: сто двадцать бритых наголо гавриков (это у них такая мода была) забаррикадировались в своем родном доме и грустно пели одним стодвадцатиглоточным голосом: "... и пока за туманами видеть мог паренек, на окошке, на девичьем, все горел огонек", а нам дали карабины без патронов, и велели оцепить их родной дом, живем-то ведь все по соседству, мы с Сергеем Колесниковым стояли, посмеивались, да и что уж там, немного завидовали их бесшабашности, непосредственности, той самой, с которой они сейчас на наших глазах, капитана Коляника с лестницы спустили, и тут подошел ко мне их старшина, прапорщик Иеремеев, и предложил пойти с ним в казарму, неспроста предложил, я месяц назад о их непосильном труде написал в окружную газету, а потом заметку перепечатала центральная "Красная звезда", так что мастерство ведь не купишь, и не продашь, а в результате мужикам пересмотрели кое-какие расценки, и они за работу в пургу и при минус сорока одном градусе стали процентов на пятнадцать больше получать, а у стройбатовцев, да в Бухте, это уже сумма, и мужики сильно зауважали Публицини.

То есть меня. Но идти к ним я не хотел. Но Серега Колесников сначала подначивал меня, а потом предложил пойти вместе.

И мы втроем постучались к ребятам.

Как они ни любили старшину, а он и вправду хороший и сердечный человек был, все же Иеремеева сначала впустили, дали стакан коньяка, он попробовал отказаться, но дело уже пахло не коньяком, а керосином, и он выпил залпом коньяк, получил по шее, заплакал, и сам ушел.

А мы с Сергеем уговаривали ребят сдаться. Собственно, и это было лишь прикрытием истинной миссии. Нам надо было узнать, не добрались ли они, не дай бог, до боевого оружия, насколько цела и не помята дверь в оружейку, и нет ли у парней дурных мыслей в этом направлении.

Таких мыслей не было, все мысли были о другом: о дембеле, о доме, ну и обо всем эдаком. Нормальные, обычные мысли, но стройбатовцы уже были сильно подогреты, и многое им казалось трын-травой.

Я об этом не подумал. Пользуясь расположением ребят, начал витийствовать: говорил в основном о том, сколько хорошего их ждет завтра, поутру, когда проснутся, и пропагандистский жар не прошел мне даром. Парни слушали, бурчали, пели, но постепенно накалялись. Им не надо было ничего объяснять, сами не маленькие, не первый год замужем, и расслабившись, все равно были напряжены: ведь завтра, поутру, когда проснутся... А еще я тут с красивой, но неутешительной речью.

И, главное, ничего ведь не чувствовал, салага. Как всё переменилось, как уже покашиваются на меня, ничего не предлагают, и вообще все внимание к Сереге Колесникову, которые вел обыкновенный треп.

Он подошел ко мне, взял за плечи, приставил близко свое широкое лицо и невесело подмигнул: "Давай, Рогов, дуй за закусью, горячее есть, а закуска кончается".

- Пусть топает, - безразлично разрешили стройбатовцы.

Уходя, я видел, как Серега сел на свое место, взял стакан и обратившись к соседу, сказал: "Не, а что ни говори, а вот ваш Коляник - пацан по сравнению с нашим Дралом..."

Ну, что мне оставалось? На душе пакостно, будто мне завтра вместе с ними просыпаться. А лучше бы вместе с ними. Вроде и прав во всем, да нет, подсказывает душевный институт, что-то здесь не так... Потом уже догадался, что.

Я стал в цепь, но меня тут же выдернули и я пошел докладывать обстановку полковнику Треухову. Он выслушал и обратно в цепь отправил.

А минут через десять мы их взяли штурмом. Я попытался было сачкануть, но проклятый Драло буквально втолкнул в казарму. Я стоял в углу, смотрел, как ребят вязали, выводили, рассаживали по машинам. Никто в мою сторону не плевал, но и комплиментов тоже не говорил.

Через месяц после гауптвахты, которую они все отсидели по скользящему графику (работать-то кому-то надо), встречался со стройбатовцами. Так они благодарили, говорили, что, в общем-то, я их спас, но в глаза никто не смотрел.

А Серега Колесников подошел ко мне после атаки и сказал: "Брось. Сегодня ночью на смене картошку в аккумуляторной пожарим, и кофеян будет. У меня две банки с молоком, так, на черный день держал".

\* \* \*

- Надолго к нам?

- Да нет, Серега. Завтра уже отбываем.

- Вы у Элли?

- Ну, а кого же ещё?!

- Ладно, ясно. Завтра приду проводить, если получится. А сегодня дежурить надо.

- Не завтра, а уже сегодня.

- А сколько уже? Ого, полпервого. Дела. Бежит времечко.

Серега говорил, а сам, вроде машинально, сначала крутил в руках протокол допроса Копылова-Особого, а потом потихоньку начал рвать его. Порвал части на четыре, и, так же медленно и задумчиво, бросил в корзину.

- Ну, спасибо, Серега.

- Пока, пока, мужики.

Мы вышли и я сказал: "Сейчас. Подождите меня. Я через две минуты буду".

Я зашел в кабинет старшего лейтенанта. Серега посмотрел на меня.

- Слушай, а ты что, с Иностранцем раньше знаком был?

Он помолчал, чуточку, а потом, весело очень, сказал: "А как же. Мы с ним на курсах в Высшей школе профдвижения учились."

- Ясно. Ну, пока, еще раз.

Я вышел. Все. Больше у меня вопросов нет. Нет вопросов. Я постучал по дереву и шутливо прошептал: "Чур, чур, меня".

Да нет, и правда прошептал шутливо. Можете не сомневаться. Не верите? Ну и ладно. Я и сам во многое отказываюсь верить.

Иностранец и Копылов поджидали меня внизу, возле дежурной комнаты. На этот раз она была пуста. Иностранец смотрел на меня и иронично улыбался. Я не обратил на это внимания. Хорошего помаленьку.

- Ладно, пора и домой. На сегодня хватит. Идем.

Мы вышли из райотдела. Вокруг была светлая, поскрипывающая тишина.

- Благодарь, - потянулся Иностранец.

- Слышь, мужики, а где бы здесь ослика привязать?

- Вы что, Степан Иванович, подвинулись малость на радостях?

- Чего подвинулся, - переминался с ноги на ногу подопечный, - вам хорошо говорить. А я уже второй час терплю.

- Да, опять незадача. Ну да ведь сейчас ночь, зайдите за угол, да и делу конец.

- Точно, - обрадовался Степан Иванович.

Он забежал за угол оригинального дома, а мы прикурили. Потом затоптали окурки, Копылова все не было. Потом мы услышали гневный чужой голос, и поспешили на него.

- Ты что же делаешь, мать твою перемать? - Заходился в сдержанном крике (ночь всё же) незнакомый сержант. Степан Иванович понуро застегивал ширинку.

Сержант увидел нас.

- Этот... этот... гад, подлюка... он, - задыхался незнакомец. Я подумал, что, наверное, подопечный решился на что-то большее, чем ослика привязать.

- Так что же он? - Спросил подавленный Иностранец.

- Он... на наш райотдел, представляете, на райотдел поднял...

- Чо это я поднял? Ничо я не поднимал, - огрызнулся Степан Иванович.

Тут и младший командир чуть-чуть оклемался. До него, наверное, дошло, что он сморозил глупость, но исправлять ее при посторонних не позволяли ни звание, ни должность.

- Идем, - и он решительно подтолкнул Копылова-Особого к знакомым воротам.

Мы остались внизу, уже по настоящему потрясенные происходящим. Казалось, что эти приключения никогда не закончатся.

- Две жизни, три жизни, - бормотал Иностранец, опять прикуривая, - альпинист и адвентист, елки-палки...

Да, тут он, пожалуй, прав. Пережившему свое время лучше бы забыть про социальную активность. Но я понимаю Степана Ивановича. Он ведь не шкуру меняет. Он по природной, генетической наивности, начинает верить, что сможет жить по-новому. Но как же... Ведь все прежнее в порах, в мозжечке сидит, подкорка больше, чем разум, работает, думает одно, а делает и говорит другое. Воистину: «грехи наши тяжкие».

Так мы стояли минут десять, уже не решаясь ничего предпринимать. На одиннадцатой минуте Степан Иванович колобком выкатился на крылечко, расшатанное от старости.

- Поплыли отсюда, - жужжал он, - вот ведь, ох этот Серёга, всегда самую суть ухватывает, бесценное качество, в наше время, такой везде себе место найдет...

Мы с Иностранцем молча повернулись и пошли. Потом Иностранец сказал: "Посмотри, где он?"

Степан Иванович выскочил из-за деревянной водокачки, как черт из табакерки. И опять за своё:

"Знаете, мужики, чем вы только что рисковали? Серега так решил, и велел мне вам передать: если я еще раз за эти сутки к нему в кабинет попаду, мне статью пришлет, а вам по пятнадцать суток. А уж старлей в таких случаях не шутит, сами знаете".

Самое интересное, что он прав. Конечно, нам по пятнадцать суток впаять у Сереги кишка тонка (хотя и попытался бы: железный принцип, пообещал - сделал), а вот Степан Иванович перешел бы на



тюремные харчи, это точно. Такой уж он есть, Серега Колесников, нравится нам это или нет. Но я то против него ничего не имею. И люблю такого , какой есть.

- Степан Иванович, - сказал Иностранец, - дорогой вы наш и обожаемый. Идите впереди, а руки держите за спиной, и без фокусов...

Встревоженный Элли встретил нас у дорожка дома.

- Вы где были? Я уж и в "Огни" заскочил, и дома проверил...

- К Сереге Колесникову в гости заходили.

- Понятно, - усмехнулся Элли, - ну, идем ночевать.

Элли повозился немного на кухне, а потом крикнул нас. Стол поразил: все чукотское изобилие было на нем. И та же оленина, и красная рыба трех сортов, икра, картошка свеженькая с завоза, и какое-то копченое мясо неизвестного происхождения, опять же красное по цвету, острое по вкусу, маленькие рыбешки - копчушки, и дымящийся хлеб...

- Забежал на пекарню по дороге, - объяснил гостеприимный хозяин, ставя на стол наш (мой и его) ностальгический напиток - солдатский котелок кофе с молоком.

Мы вытащили "Окейю" - разговор вроде и не прерывался.

- Вы ешьте, а я пельмешек заварю, - никак не мог уговорить Элли, - представляете, мать из Сусумана приезжала, не побоялась, старая, за тыщу верст прилететь, так столько наворотила, что уже второй месяц уговорить не могу...

- Кофе-то прежний?

- Да нет, давно уж настоящий, бразильский, варю, а потом по привычке молоком разбавляю.

- Хм... Все течет, все изменяется, да?

- Стареем , брат. Вот и все.

- Че - то быстро, это, стареем. Рано нам стареть.

- Чин-чин, мальчуганы. Какие ваши годы, об чем разговор. А вот у меня как-то все по-другому было, - тут Степан Иванович жужжать перестал, и грустно вздохнул.

- А че у вас было?

- Да все как-то... не по людски. И не пойму, то ли время такое было, то ли сам по себе дурак...

- Скорее всего и то, и другое, - вскользь заметил Иностранец. Степан Иванович, как всегда, предпочел ничего не слышать.

- Я вот когда в аппарате в Чомбее работал...

- Степан Иванович, кто старое помянет, тому глаз вон, - тут уж я не выдержал. Старый селадон посмотрел на меня быстро: знаю или нет?

Да знаю, знаю. Все знаю. Мать рассказала, когда я его как-то пожалел. Правда, потом за сама почувствовала, что зря.

Этот ненормальный много лет боролся за чистоту рядов. Причем, за стерильную чистоту. И, кажется, только до геометрических рядов не добрался. Остальные всё достал.

А у меня отец с матерью нерасписанные жили. Мне уже пятый год пошел, у них все руки не доходили. Вернее ноги - до ЗАГСа. Вообще, потом мне мать объяснила, в их среде это никакого значения не имело. Ну что ж, хорошая, знать, среда была.

А Степан Иванович, когда в аппарат пришел, был жутко принципиальный, твердый и настойчивый. Он вспомнил про сей недостаток ( с его новой точки зрения), позвонил отцу и попросил его зайти в свой кабинет с огромным столом и ажурными стульями. Откуда что берется - в Чомбее стулья с ажурными спинками, причудливо изогнутыми ножками?! Чудеса.

О чем они говорили, оба потом молчали. Известно лишь, что недолго. Минуту, может две. Затем отец встал, взял чернильный прибор, размером как раз в полстола, и одел его на голову Копылова. Слава богу, что прибор был самый наимоднейший по тем временам» из лёгкой пластмассы. А, представляете себе, если бы предыдущий, сороковых годов? Худо бы пришлось обоим...

Вечером Степан Иванович как ни в чем не бывало сидел у дяди Гриши и тети Тани, и даже не морщился, когда кто-нибудь спрашивал его про головную боль. Смеялся - проехали, мол. Батяня мой полвечера промрачнел, а потом и он отошел.

То ли нервы разгулялись, то ли ещё что, только я незаметно, во-первых, попробовал всё, что было на столе, а во-вторых, пришел в себя уже на третьей порциипельменей. А надо знать, насколько глубоки у Элли алюминиевые чашки-тарелки. И это все после "Огней", после оленины по-эльзасски! Тут я вынужден поставить, кажется первый, в этой истории восклицательный знак и согласиться с собственной мамой. Она который уж год твердит, что я ни в чем не знаю меры. Защититься можно только тем, что и она ее тоже не знает - твердит-то действительно уже добрых два десятка лет.

- Ладно, братцы, завтра лететь, надо и поспать немного.

В комнате я сначала просто рухнул на Эллинский диван. Потом все-таки заставил себя встать. Достал чистое белье из шкафа, тут появился Иностранец. Через пятнадцать минут он уже был в глубоком ауте, а я сквозь дрему невольно слушал разговор Элли и Степана Ивановича. Копылов на этот раз не жужжал, разговаривал нормально, даже устало. Можно понять: такой вечерок за спиной.

- Когда все на перекосяк пошло, я и сам не могу вспомнить. То есть, что значит вспомнить, конечно, не вспомнить, а понять. Ведь многие года я считал, что у меня в жизни все прекрасно и удивительно. Ну, насчет удивительно загнул, а что живу, как надо, этому верил. Наверное, началось в тридцать шестом. Я тогда дядюшке Джо письмо написал.

- Кому?

- Дедушке Сталину. Так на конверте и подписал: Москва, Кремль, дедушке Сталину.

- Это же сколько вам лет было?

- Одиннадцать.

- А зачем писали?

- А ни зачем. Я уже тогда политикой увлекался, газеты от корки до корки читал. Ну и начитался: дорогой товарищ Сталин, то, у нас, се у нас, а главное - у нас все хорошо. Всегда и повсеместно. Я решил, дай тоже обо всем напишу. Так и писал, всю правду: дескать, дедушка Сталин, дорогой ты наш, живу я здесь, на Осеннем, совсем хорошо, все у нас есть, учусь без троек, батя у меня стоящий, но немного зашибает, а маманя не загульная, семья крепкая, советская... Ну, и в таком духе все.

- И что же?

- Через неделю батя хмурый и злой с работы пришел. Разделся в коридорчике, и через кухню, сразу в комнату. Ходил, ходил, ходил... С час ходил, наверное. Потом не выдержал, меня зовет. Я зашел, а у него уже из галифе ремень вынут, ждет. Ох, и полосовал он меня тогда. Так ни за что не попадало. А ведь всякое бывало, я, накануне, к примеру, дровяник нечаянно сжег, со всеми дровами, покурил, называется...

- А он хоть объяснил за что порет?

- Сначала молча драл. Я орал все время: за что, да за что? Ну, он и не выдержал, начал приговаривать: "Будешь еще вождям писать... Будешь знать, как вождям писать..."

Потом уже, когда отошли оба, он предупредил, чтоб я никому... Ему в НКВД строго-настрого: мол, меры прими, но так, чтоб без разговоров. А он, вишь, не выдержал, проболтался. Настоящий мужик батя был, я ему не чета. Через год его забрали. Отвезли в Чомбей на «мараказе», и через неделю расстреляли. В овражке, сразу за городом, ключ там бьет, Каменный зовут. Мы с маманей под вечер приехали, часа через два, там уже почти всех разобрали. Так что у нас в провинции все просто было, по-домашнему, по-родственному, можно сказать. А то ведь сейчас читаешь про массовые репрессии, и мороз по коже: где, когда? Ничего родственники не знают. Как забрали, так больше и не видели. А у нас в семье могилка есть, все же вроде как при нас батя остался.

- Степан Иванович, а за что его?

- О господи, ну при чем тут за что? Я ж говорю, в Чомбее это все как-то по другому было, чем везде. Так, мол, и так, надо. Родина и Сталин велят, а ты, как старый коммунист, должен понять, и не ерепениться, и нечего ерепениться ежели попал в разнарядку по ИТР, если не тебя, так твоего коллегу... Не так, конечно, было, но следовательно говорил одно, а подразумевал именно это. Я потом, по разговорам, понял. Даже с одним мужиком встретился, он с папаней двое суток в одной камере сидел. Сейчас на Балахнинском живет.

- Ох, - поежился Элли, - где живет?

- На прииске, на Балахне, - засмеялся Степан Иванович, - да уж помер, должно быть. А ты че, холодно, что ли?

- Холодно... Рассказик ваш горяч: по-домашнему, по-родственному.

- Да, лихое времечко. Мне на войне так горько не было, как в тот год. Любил батьку-то.

В этом месте их голоса стали как-то тише, а сопение Иностранца - довольно интеллигентное - и вовсе исчезло. И Иностранец вроде как испарился, а вместо него, не раздеваясь, легла на диван американская киноактриса Настасья Кински, и заговорила о великом ирландском романе "Улисс", который я, к стыду своему, до сих пор не прочел. И я, не зная как быть, сначала просто поддакивал, а потом приобнял ее, потом совсем обнял, и Настя, наконец-то, перестала говорить про роман, а что-то такое, непонятное, зашептала, но не на английском, а на русском, а потом вдруг как-то слишком уж залихватски толкнула меня в бок, и сказала: "Вставай, Рогов, пора, брат. Вставай, вставай". Я еще успел подумать, что это к чему было, если она мне сестра, и увидел перед собой Иностранца.

- Восемь ровно. Я, брат, лучше всякого будильника. Здорово, да: секунда в секунду проснулся, как загадал.

- Феноменально. Только еще спать хочется.

- Хочется-перехочется. Сегодня надо на Иркутск курс брать. Узнаем, кто, что, во сколько летит...

- Это все Элли сделает.

- А... Ну да. Я не подумал. Ладно, пошел умываться. А ты не вздумай заснуть, воды холодной притащу.

- С тебя станется.

- То-то.

Однако до ванной он не дошел. Закричал из кухни, чтобы я "срочно прибыл посмотреть". Я прибыл, но не очень срочно. На расстеленном спецпошиве, возле стола, сидели, привалившись плечами, Элли и Степан Иванович, безмятежно спали. Спинами они подпирали стену.

- Вот он, закон единства противоположностей. Первый раз визуально наблюдаю, - весело сказал Иностранец.

- Пусть поспят, пока мы умываемся.

- Да, конечно. Мне что, жалко, что ли...

Иностранец повернулся, сделал шаг-другой, да так и застыл. Элли ровным, внятным, негромким, но быстрым голосом, заговорил: "Семнадцать-тридцать в двадцать пятом за тринадцать ноль четыре, индекс четыре ноля, семнадцать-тридцать в двадцать шестом за тринадцать ноль пять, индекс четыре ноля..."

- Он что, припадочный? - прошептал Иностранец.

- Подожди... Так, это "Орион"...

- Семнадцать-тридцать в двадцать седьмом за тринадцать ноль шесть, индекс четыре ноля...

Тут Элли на долю секунды прервался, потом заговорил еще быстрее.

- Новая цель, тринадцать-пятнадцать, сектор восемь, в пятом, за тринадцать ноль семь, индекс три пятерки, семнадцать-тринадцать в двадцать восьмом за тринадцать ноль восемь, индекс четыре ноля, тринадцать-пятнадцать в восьмом, за тринадцать ноль восемь, индекс три пятерки...

- А это наш "Миг". Через минуту-две они на планшете сольются. Барражируют вдоль границы, каждый со своей стороны. Даже видят друг друга. А на планшете это одна точка. Сейчас я его разбужу.

- Да уж, пожалуйста. Сумасшедший дом какой-то.

Я подошел к Элли, наклонился, и его же голосом, так же быстро, сказал: "Разделение цели!"

- А... Что... Разделение... Рано... Тьфу, черт, я считывал, что ли, мужики?

- А то, еще как считывал. Прирожденный диктор-планшетист.

Такое впечатление, что ты еще в утробе матери считывать начинал.

- И у меня такое же впечатление. Все ничего, перед девушками неудобно. Пугаются так, что и замуж потом не хотят.

- Счастливчик. Этому же радоваться надо.

- А я что, горюю, что ли?

Степан Иванович открыл глаза и, похрипывая, встрял в беседу: "А за Марфиньку, посмотрю еще, отдавать или нет".

- Тыфу! - Теперь уже чертыхнулся Иностранец и ушел умываться. Элли так пружинисто подскочил, не касаясь руками пола, что Копылов завалился на бок. Закряхтел, и тоже поднялся.

Как только сели за стол, на котором уже дымился знакомый котелок с бразильским кофе, забеленным сгущенным молоком, в дверь позвонили. Пришла Марфинька. Пришла, поулыбалась всем, и Элли, сделала огромный и вкусный омлет. Про вчерашние приключения мы ей не стали рассказывать. Потом Элли с видимым сожалением убежал ненадолго на КП, а мы пошли бродить по Бухте. Иностранец делал наши портреты - групповые и индивидуальные - на фоне местности. Сходили в долину, но танков там не было. На "Останец" подниматься не стали. У меня были свои на то причины, у ребят - свои. Около дома нас опять встречал Элли.

- Мужики, вам, как всегда, везет. Сегодня идет транспортный Ил-76-Т, супергрузовик, пустой, посадки в Норильске, Красноярске, Иркутске. По-моему, то, что надо?

- То, что надо. Когда взлет аппарата?

- А они позвонят. Айда слушать маг ко мне. Рок-ансамбли, "ДДТ", "Алиса", "Кино", все как положено...

Но только мы вошли в квартиру, раздался звонок: аппарат уже готовился к взлету. И мы заторопились в аэропорт, кромкой Бухты, под удивленными взглядами нерпочек, торчащих тоже у кромки, но с другой стороны, и никуда не спешащих, потом дорогой через тундру. Элли, как раненый пес, умудрялся вырывать из скудной травы какие-то блеклые цветочки и дарить их Марфиньке. Уже в порту хватились Степана Ивановича. Оказалось, что исчез он еще в самом начале.

- Горбатого могила исправит, - сказал Иностранец.

Я посмотрел на Марфиньку. Она лукаво подмигнула в ответ: все в порядке. Только мы зашли в щемяще знакомый буфет, как туда же вкатился запыхавшийся шар Копылова-Особого.

- Мужики, - жужжал он, - ну не обижайте старика, я ведь с вашими отцами, да и сам весь изранен, почти три года на передке, да ведь если сейчас не возьмете, где-нибудь в другом месте всучу, все равно ведь не отстану, сами ведь знаете...

- Слово "ведь у вас - паразит, - ни с того ни с сего вдруг сказал Иностранец, взял у Степана Ивановича коробку с "Адидасом", и пожал ему руку. Мы с Марфинькой по очереди поцеловали старика в макушку. Приближалась знакомая боль расставания, и все наперебой начали шутить. Подошел роскошный красавец под два метра, в усах скобкой, волосы пшеничные, - бортинженер с Ил-76-Т. Выпил боржоми, съел пирожное, встал, и сказал, чтобы минут через пять были у аппарата. Я отошел к стойке, за которой мило улыбалась сильно постаревшая Галка и, подмигнув, подозвал Копылова.

- Степан Иванович, а всё же, что инкриминировали вашему отцу? Ведь в приговоре что-то должно быть записало?

- А тебе зачем? Для ума или для сердца?

- Это как?

- Ну, бескорыстно интересуешься или статью готовишь о культе?

- Старый осел! - Выдержка изменила мне. Я почувствовал мгновенный жар, пот на лбу, и повернулся, чтобы идти к столику.

- Да погоди, погоди. Язык мой - враг мой. Не обижайся. Ведь у меня друзей-то раз-два и обчелся. Это роскошь, если они на меня начнут обижаться. Что поделаешь - ботало. А отца расстреляли за взрыв моста через Кетчим.

- Какого моста?

- Вот это я бы и хотел спросить у следователя, который готовил документы для "тройки". Сам знаешь, мостов-то через Кетчим до сих пор еще нет ни одного. Ох, и спросил бы я у него...

- А если б вас самого судьба после войны в органы забросила?

- Ну как, забросила... Отец-то репрессирован. А, это ты так спрашиваешь, умозрительно. Нет, в НКВД я бы не смог. Я понимаю о чем ты, всякое, конечно, бывало, но там бы я загремел на Каменный ровно через две недели. Первую бы присматривались, вторую обвинительное заключение готовили. Тут к нам подошла Марфинька, подозрительно покосилась на стойку, на чужие пустые стаканы возле нас.

- Тюнечка, хватит секретничать. Пора, ребята.

Ну что ж, пора - значит пора. Мы пошли по знакомой дорожке, по железным дырчатым пластинам к стоящему в самом конце полосы громадному аппарату. Я и Степан Иванович, потом Элли, а замыкают Марфинька с Иностранцем. Слышно, как деревянно печатает Элли, щебечет Малышка наша двухметровая, бурчит что-то Иностранец. Потом мы расцеловались, обнялись, все вроде нормально, только Иностранец немножко напрягался, когда его Марфинька целовала, да тискала, как ребенка, и на ухо шептала, я знаю что, да и вам уже рассказывал, хотя может и не нужно было, да теперь поздно сожалеть. Она говорила ему, без всяких там смешков, ты помни, Иностранчик, помни, нам еще быть вместе, не переживай, все впереди, а тот, как всегда, и радовался, и злился, и обижался, и черте что, и сбоку бантик, так всегда у них, я то привык, а Элли, бедный, засох на корню, да, парень - Марфинька, это тебе не просто так, сам уже знаешь, кто и что она.

Прощались мы так, прощались, а потом как-то незаметно оказались в аппарате. Иллюминаторы здоровые, мы глядим во все глаза на своих, ох, как не хочется расставаться. Потом Ил-76-Т взревел, пошатался, и... пошел, пошел по полосе, развернулся, еще постоял, еще пошатался, короткий разбег, отрыв, я еще гляжу в иллюминатор, и вижу внизу родную троицу. В последний миг Степан Иванович - Батаевич Копылов-Особый большим и указательным пальцем правой руки сделал колечко и показал его нам. Поскольку словечком о'кей он не пользовался, я понял так: еще не вечер. А Иностранец скептически причмокнул уголком губ и головой покачал. Он в его оптимизм слабо верил.

### ГЛАВА 3. СНЕЖНЫЕ ЛЮДИ

После виража над Бухтой, между сопками, горами, скалами, после этого высшего пилотажа, похожего, как уже было сказано, на вздох оправданного судом истории, Иностранец вскочил, и меня поднял. Мы пошли к пилотам, поразились приборной доске, на которой мигал миллион разноцветных лампочек, потрепались с пшеничным красавцем о том, о сем, потом спустились в аппарат. Именно спустились: кабина пилотов находится на метр-полтора от пола грузового отсека. И в аппарат, в его чрево, спускаешься как в трюм какого-нибудь огромного сухогруза. Наверное, по размерам он с ним совпадает. Огромное чрево, что и говорить.

Посредине отсека стоял, закрепленный тросами, скобами, то ли МАЗ, то ли КраЗ - я в них не разбираюсь. А вокруг автомобиля суетился молоденький, лет восемнадцати, парнишка. Что-то он там протирал, подтягивал, смазывал, бормотал что-то про себя, припевал, посвистывал. Мы сели у стены. Сиденья в грузовом отсеке, как и положено, жесткие, алюминиевые. Долго на них не высидишь. И, естественно, не поспишь.

- Эй, парень, - окликнул Иностранец владельца грузовика.

- Вы меня?

- Тебя, тебя. Кого же еще. Как кличут-то?

- Меня?

- Что с тобой, парнишка?

- А что со мной?

- Да, содержательный разговорчик получается. У тебя имя есть?

- Вообще-то есть. Жеглов меня зовут.

- Вообще-то Жеглов. А в частности Шарапов, да? В миру, так сказать.

- В каком миру? Какой Шарапов? Жеглов я.

- Ясно, ясно. Куда путь держим?

- Ох, мужики, не спрашивайте. Они меня скоро до края доведут. - В глазах синих, пронзительных появились слезы.

- Что? Кто? Шарапов? - Перепугался Иностранец.

- Кто, кто... Сам-то я из-под Иркутска. Из Эхирит-Булагатского района.

- Знаем, знаем такой.

- Ну вот. Послали летом в Нечерноземье на уборку урожая. Ну, туда своим ходом добрался. Долго ехал, но добрался. Ну, отработал, все честь по чести, под Воронежем дело было. Я работы-то не боюсь, это вам любой эхирит-булагатец скажет. Не верите?

- Ну что ты, что ты, Шарапов...

- Жеглов я. Ну вот, поехал, значит, в Воронеж, город посмотреть. Туда, сюда, купил кое-что, хотя в городе шаром покати, в театр, в кинцо сбегал. Так, по-простому, один-одинешенек, дома-то меня Маняшка ждет, невеста моя. Не верите?

- Да верим, верим. Хорошенькая поди?

- Да сщас-то не очень.

- Что значит сейчас? А раньше?

- Да она, мужики, уже на девятом месяце. Подурнела, небось. Я-то ее когда видел, еще ничего была.

- Невеста, значит?

- Ага. Ну вот, заночевал в кабине, она у меня широченная, сиденья, что твоя кровать, ничуть не хуже, и уж собрался было в обратный путь, а тут гляжу - по тротуару Колька идет. Братан мой родной. Ну вот, а Колян наш на этом проклятом самолете инженером работает. Он еще когда техническое училище кончил, в Иркутске, потом военным был, потом в академии учился, сщас-то вот здесь работает.

- Повезло тебе, значит, Шарапов?

- Ага, повезло. Врагу такого везенья не пожелаешь.

- Это отчего же так?

- А вы слушайте. Мы с Коляном давно не виделись, лет пять почитай. Обрадовались до невозможности. Посидели честь по чести, чекушку, нет, две, раздавили, закусили, обговорились за ночь-то. А потом он мне и говорит, че, мол, ты, братан, своим ходом-то, мы тебя в Иркутск оттартаем, сщас туда как раз летим без загрузки, с одной посадкой в Омске.

Тут парень призадумался. Мы молчали, чувствовали трагедию, не мешали ему. Он шмыгнул носом, потом улыбнулся грустно и продолжал: "Было это аккурат две недели назад. С тех пор, где я только не был: из Воронежа в столицу, из столицы в Минск, из Минска в Керчь, Норильск, Магадан вот, в Бухту теперь, сволочуги, завезли. Я уж и упрашивал, и в драку на брата лез, и плакал, и все... Все испробовал. И, главное, каждый раз он мне говорит: все, говорит, братишка, прости меня, дурака, соскучился по тебе сильно, потому и возил с собой. Но теперь-то, мол, точно на Иркутск идем, и без всяких посадок. Эта-то дура сколько угодно, по-моему, лететь может. Говорит, а у самого в глазах смех, что я, не вижу, что ли. Мужики, вы хоть правду скажите: они вообще-то в Иркутск собираются или нет?"

Мы с Иностранцем давились от смеха. Вот досталось парню, ничего не скажешь. Не позавидуешь. А смешно. Смешно, и ничего не попишешь. Братская любовь закабалила.

- Ты не бойся. Сейчас с двумя короткими посадками на Иркутск - сказал Иностранец.

- Это кто вам сказал, братан?

- Братан. Но нам он не врет. Корреспонденту центральной газеты опасно, брат, врать.

- Погодите... Какому корреспонденту? Кто корреспондент-то?

- Я вот. И он тоже. В одной газете служим.

- Вот гадство, - сказал Жеглов. Потом поднялся и ушел куда-то за свой КАМАЗ или МАЗ. Но быстро вернулся.

- Вы, товарищи, наверное думаете: вот, дескать, какое безобразие в небе страны творится. А зря думаете. Ничего такого не творится. Наврал я вам все, нафантазировал. С детства это занятие под монастырь подводит. Братан, правда, есть, но все остальное вранье.

- Все?

- Все.

- А про невесту?

Жеглов немного подумал, а потом сказал на всякий случай: "И про невесту тоже. Знамо дело, нет никакой Маняшки".

- Ну, наврал, так наврал. Ничего страшного. Тем более, корыстной цели не преследовал. Не преследовал ведь?

- Ни в жисть.

- Ладно. - Иностранец вдруг залез в свой кофр и достал оттуда яркую плоскую пластмассовую коробочку.

- Вот, держи, Шарапов. За бескорыстное вранье. За вдохновение, то бишь.

- Эт че?

- А читай. Там написано.

- Rema. Tip-Top. Made in West-Germany.

- По-немецки все.

- Ну, понял, что такое?

- Не а.

- Да-а. Это, брат, заплатки для твоих баллонов. Моментально схватывает и на сто лет. Холодная, но оригинальная вулканизация. А Тип-Топ - название фирмы.

- Ох, ты. Вот эт да. Ну, спасибо, мужики. Может еще чо соврать, а?

- Губа не дура. Можешь, конечно. Но ты лучше пусти-ка нас в свой грузовик, мы придавим немного. Поспать хочется.

- Да за рада Бога, мужики. Залезайте, устраивайтесь. Там, в общем-то, на всех места хватит, но я отоспался уже на год вперед. Мне тут с машиной повозиться надо. А вы спите.

- Ну и добро.

- Слушай, у тебя что там, в кофре, склад колониальных товаров? - опросил я, когда наконец вольготно расположились в кабине.

- А че? На все случаи жизни. Эх, нет конечно, не на все. А надо бы. Хорошая кабина, ничего не скажешь, - Иностранец щелкнул дверцей бардачка. Достал книгу. "Итальянские новеллы Возрождения". Поднял глаза на абсолютно голую французенку, купающуюся где-то на Адриатике. Такая у Жеглова наглядная агитация в кабине была.

- Слушай, а парень-то расторможенный.

- Перестань глупости болтать. Книга хорошая, а плакатики эти сейчас у всех шоферов в запасе имеются. Нормальный парень.

- Ну, ну. Подчеркиваем, ага? Если между добром и злом - так уж ближе к добру.

- А не только я, - он, честно говоря, начинал меня немного злить.

- Ну, разумеется, не только, не только.

- Марфинька, скажем.

Иностранца током дернуло. Я тут же пожалел о сказанном. Ну, да ладно, переживет. Да и подумал я, прежде чем сказать. Знакомое чувство досады и бессилия охватило меня. Ну почему, почему, мне неловко за него, а ему, хоть бы хны? Как передать ему это непередаваемое чувство? Под каким гипнозом внушить невнушаемое? Впрочем, если честно, то я уже привык, и стараюсь не обращать внимания.

... Но дурацкое состояние. Говорит и делает он, а корежит внутри меня. Дурацкое! Потому и злюсь. Вернее и поэтому тоже.

Надо было отключиться. Лучше, всего - заснуть. Понимая это, я старался думать о чем-то другом, потом считать начал. А Иностранец уже давно спал. Наконец Морфей сжалился надо мной, махнул (чем?), но чем-то махнул, и я тоже заснул. Уже потом стало ясно, что мы проспали посадку в Норильске, в Красноярске меня толкнул Жеглов, и я ему ответил: "Отстань. Шарапов", а он Иностранца разбудил, и тут же пожалел об этом, выслушав, где его видит Иностранец вместе с

прекрасным сибирским городом, и он отстал от нас. Я не помню, что снилось, но обошлось без черных красок, без гадостей, скорее, что-то приятное. А потом услышал (вот те раз, услышал. Почувствовал что ли?) знакомую мелодию. На этот раз ее кто-то свистел. Не курский соловей, конечно, но мелодия настолько прекрасна, что мне все равно, как я ее чувствую. От нее я проснулся. Иностранец сидел какой-то встрепанный.

- Слушай, по-моему тебе приснилась одна из новелл Возрождения, а? - Пошутил я.

- Вся эпоха целиком. Эх, хорошо, брат. Летим, хорошо, чудесно...

- Да уж, видно, подлетаем.

- О, подлетаем. А ты откуда знаешь?

- Да так. Слушай, а ты сейчас ничего не свистел?

- Кажется, я тоже на год вперед выпался, - потянулся Иностранец, - что ты спрашивал?

- Я говорю, ты сейчас ничего не свистел? ,

- В каком смысле?

- Да в прямом.

- Свистел? Да вроде свистел. А что?

- Вот именно: а что?

- В каком смысле?

- Н-да. Если Шарапов, по-твоему, расторможенный, то ты - заторможенный. Компания.

- Ты че, Рогов? Ты че? Ну свистел, свистел, ну и что?

- Да ничего. Я просто спрашиваю: мелодию не помнишь, которую свистел?

- Фу ты. Напугал аж. Мелодию. Ну ты знаешь. Мелодию. Температуры нету, а? Точно нету? Дай голову попробую. Что свистел, это же надо, а?! Что свистел. А я знаю, что я свистел?!

- Ладно, успокойся. Тебе вредно перевозбуждаться. Не знаешь, и не надо. Забыли этот разговор.

- Лады, - мгновенно успокоился Иностранец.

Мы поднялись в кабину, встретили там смущенного пшеничного бортинженера.

- Ребята, бес попутал. Вы уж там не распространяйтесь нигде Он ведь младше меня на пятнадцать лет. А у нас батяка вечно на заработках был, вот я его и вырастил вместе с матерью. Достался он нам - болел, паршивец, каждый месяц, да и жили, прямо скажем, небогато. Он для меня сынок, а не братишка. Вот, не видел несколько лет, а как встретил - защемило сердце. Никак отпустить от себя не могу. Вы уж войдите, мужики...

- Слушай, да брось ты. Наоборот, если хочешь... Я такого давно уж не встречал. Молодчага ты, брат. - Успокоил его Иностранец.

- Ну спасибо, мужики. Вошли, значит, в положение. Поняли, значит. Век не забуду. А Ваську в Иркутске отпускаю, слово даю.

- Шарапова?!

- Шарапова?! А, ну да, Шарапова, - усмехнулся бортинженер. Мы опять вернулись в Краз-Камаз, через сорок минут Ил-76-Т, пронырнув через близкий земле туман, сел в Иркутске. А еще минут через десять сияющий Шарапов уже сидел за баранкой своего лимузина.

- Во, братцы. Иркутск. Уж и не ждал, и не ведал, когда вернусь. Иркутск, тут до дому...

- Дурачина, пойдя с братом простись...

- Уже. Уже простился, век бы его не видеть, окаянного. Шучу, братцы, это я на радостях, сейчас они пришвартовятся, дадим газу, через три часа Маняшку увижу...

Мы переглянулись.

- А...- начал Иностранец. Я дернул его за руку, он замолчал.

В Иркутске нас, как всегда, покатали с полосы на полосу, у здешних диспетчеров мода такая, пока аппарат полчаса по летному полю не поползает, ни за что не отпустят. Потом приткнулись на расчерченную белыми и красными полосами площадку. Медленно-медленно, тихо, без скрипа, фантомно спустился на бетонку широченный, встроенный в фюзеляж (ох, как мне нравится это словечко) аппарата трап, впусив в брюхо свежесть раннего утра. Шарапов осторожно съехал на землю и обернулся. В глубине, у самого основания трапа, стоял пшеничный гигант, и смотрел на



него. Пацан переключил скорость, отвернулся, потом остановил автомобиль и, не смотря в нашу сторону, выпрыгнул на полосу. Ну и мы тоже, понятное дело, отвернулись. Деликатное дело-с, господа гардемарины.

- Вам куда, мужики? - Спросил Шарапов.- Вернулся он немного задумчивым и рассеянным.

- На бульвар Постышева. Знаешь такой?

- А как же. По Байкальской счас мотану, напрямую из порта проеду.

- Ну и хорошо. Давай, Анри, жми на всю катушку. А шампанское и цветы оставишь на кухне, - литературно шутил Иностранец.

- Да, счас бы бутылец не помешал, - мирно согласился Шарапов.

После дневного Новосибирска, вечернего Томска, круглосуточного Омска, Иркутск летом в начале шестого утра - оазис посреди Сибири. Зеленые деревья с крупными каплями ночной воды на листьях, запах костра, первого, самого раннего, предосеннего пала, на улице прохладно, а солнце светит вовсю. Мы проселочной окружной дорогой выехали на магистраль под названием Байкальская, и понеслись вниз, к центру.

- Вот здесь, Шарапов. Ну что, прощай, брат. Спасибо. Встретимся, наверное, как-нибудь... в аппарате, а?

- Не, в аппарате, не дай бог. Приезжайте лучше в гости. Село Баяндай, бурятское. Но и русские живут. Там у нас хорошо, отдохнете...

- Ну уж нет. Место встречи изменить нельзя. Сказано-сделано: только в аппарате.

- А, ну вас... Ну, прощайте, мужики, жать мне надо, вдруг уж сынок родился.

- Давай, жми.

Мы уже почти спустились по широкой лестнице к небольшой площади, когда сверху, с первой ступеньки, раздался крик Шарапова: "Эй, мужики... Так это Шарапов - в смысле "Место встречи изменить нельзя", да?

- Угадал, Шарапов.

- Во, а я думаю, че за Шарапов такой, когда Жеглов я? Ну, теперь ясно.

И он умчался, теперь вполне довольный жизнью. Мы от площади повернули налево, пошли мимо пятиэтажек, стоящих торцами к нашему тротуару. У третьего, последнего торца, сидел на корточках Цыган Мара. Рядом стояли, бутылка коньяка, два хрустальных (небольших, небольших) фужера. Весь натюрморт перегородил тротуар. Пройти было невозможно, не выпив рюмочку за знакомство. Но, видно, знакомиться было не с кем: шесть утра, воскресенье, народ спит себе. Мара скучал, потом нас краем глаза засек.

- Не ходите туда. Там Адам Смит магнитофон с пошлыми записями на полную врубает.

И это было нам глубоко понятно. Точно так же, как Адам Смит к утру любил громкую джазовую музыку, Цыган любил заканчивать ночь Моцартом. И негромко заканчивал, но монотонно: одну и ту же вещь мог ставить подряд до тех пор, пока у Иностранца не начинался глазной тик. А я сплю и при Моцарте.

- Ну, что, маленький черноголовый боец? Интеллект в очередной раз столкнулся с грубой физической силой?

- А за маленького... Ладно, черт с вами. Да знаешь, где я его видел, этого Смита? В конце концов, как у тебя в Бухте говорят: в пургу и ломы летают? Правильно запомнил?

- Запомнил правильно. А теперь запомни правильно - по половинке, по половинке, грешно коньяк фужерами в такую рань лакать-то... - сердился Иностранец.

- Да, Бога бояться надо,- согласился Цыган Мара, но налил все-таки до краев. Мы выпили, посидели на корточках, потом я сказал: "Ладно, забирай свое хозяйство, и идем домой. Через полчаса с тобой уже не простой народ, а милиционеры знакомиться начнут". Цыган Мара на этот раз был удивительно покладистым. Мы начали подниматься на пятый этаж: Иностранец, за ним Цыган Мара, потом уж я. Иностранец позвонил в квартиру номер сорок пять, потом взялся за ручку. Дверь открылась, перед нами возник небольшой тамбур, сантиметров на двадцать, еще одна дверь, и когда эта, вторая, распахнулась под его пинком, в уши плеснула мало известная композиция Дюка

Эллингтона, "Плохо быть позабытым". Иностранец встал в обычную для таких ситуаций позу, она напоминала позу смятенного и уничтоженного фюрера на пороге бункера, с картины Кукрыниксов, а все присутствующие столь же традиционно изобразили персонажей картины Репина "Не ждали".

- Хватит паясничать, - буркнул Цыган Мара, зашел в комнату, подкрутил ручку громкости. Старый Дюк немного унялся, но все равно всем было хорошо.

А лучше всех - мне. Кроме Сергеевых: Старины Эммы (так прозвали. Нетрудно догадаться, что его настольная книга "Мадам Бовари") и Зайцацы (это - настоящая фамилия. Но - он же Сергеев), Адама Смита и Цыгана Мары, Аркадьича и охотника Терпения, разных других примечательных личностей, в кресле, у окна, сидела мадам Пугачева - собственной персоной. Я, конечно же, сразу подошел, доложил, как следует, щелкнул каблуками. На этот раз получилось.

- Научился, - неодобрительно сказала мадам Пугачева, — Ну, и чему же ты там, миленький, еще научился?

- Больше хорошему, - миролюбиво ответил я, - Ну, что, встретились наконец.

- Да, - нежно потянулась мадам Пугачева. Я смотрел на нее, смотрел и не узнавал. Боже, неужели... неужели это она? А внутри все ревели от счастья - сбилось, повезло, есть Бог, есть, - наконец-то. Мог бы и раньше меня найти, я в Иркутске уже полгода завлитом в драме работаю.

- Прелестно. А как гвардии майор?

- О, а я откуда знаю. Я женщина холостая, незамужняя. До этой минуты была. Теперь, кажется, появились какие-то обязательства перед обществом...

Мадам Пугачева лукаво посмотрела на меня. Я ее взгляд выдержал спокойно. Только я присел на край огромного мягкого кресла, чтобы было удобнее разговаривать. А из кухни уже спотыкался Аркадьич, с огромным дымящимся кувшином - пунш.

- О, эти два пострела уже здесь, - увидел он меня и Иностранца, - никогда своего не упустят. Знают, что пунш Аркадьича - этот напиток одинаково нравится и патриотам, и космополитам. И вот результат - они здесь...

- Говори, говори, - сказал Иностранец и достал очередную "Окею". Народ сгрудился и мило засуматошничал. Мы с Иностранцем скрестили руки, встали поодаль, по-наполеоновски. Аркадьич самолюбиво закашлял, потом, видимо, плюнув на гордость сам залез в толпу с красиво разрисованной китайским мастером огромной чашей, и с криком: "А художнику «Аи»? Мне оно необходимей чем вам, бездари". Тут кто-то достал боцманскую дудку, дунул в нее и заорал: "Стоп, стоп, стоп... Стихотворная пауза!".

Все замерли: и я, и Иностранец не глядели на Аркадьича, за многие годы нам уже перестала нравиться эта процедура. Но он почему-то до сих пор ее безропотно сносил. Вот и сейчас, презрительно, но все-таки страдальчески, наморщив лоб, он постоял в прострации минуты две, потом спокойно сказал;

Собрав коллекцию валюты,  
меняя бронзу на фарфор,  
сосед мой быстро вышел в люди,  
и не вернулся до сих пор.

И он выставил напоказ, держа обеими руками, уже полную "Окейей" свою чашу: "Чистый фарфор» из Поднебесной. Дядька участвовал в культурной революции, и вот, вывез, мародер".

- С какой стороны участвовал?

- Сторона там была одна, - поучительно ответил Аркадьевич, - китайская сторона. Все остальное нюансы.

- А он что, китаец?

- Был одно время. Что поделаешь, профессия такая. Военный атташе называется.

Адам Смит подошел к магнитофону и начал выбор мелодии. Пока выбирал, мы все заткнули уши, а Цыган Мара побледнел. Потом мы слышали композицию Боно "Маленький человек" и довольно тихо. Цыган Мара смирился. "Маленький человек", одна из немногих мелодий Адама Смита, которая ему нравится.

- Что, и тебе ничто человеческое... а, маленький черного... - Зайцаца не успел закончить свой вопрос. Цыган Мара, к которому он обращался, гневно вскочил, выхватил из рук Аркадьича его чашу, и хотел плеснуть "Окейей" в лицо Зайцацы. Будь он поспокойней, отобрал бы сосуд у кого-нибудь другого - чаша Аркадьича была пуста.

- Ты Зайцаца...

- Ты же Сергеев, - добавили из-за стола.

- Покорнейше прошу не перебивать. Ты, Зайцаца, знаешь, что мне неприятно одно воспоминание. Тем не менее, будишь его. Вывод...

Но и Цыган Мара не успел закончить свое сумбурное, но изысканное обвинение, и сделать вывод. Аркадьич подобрался к магнитофону и переключил "Шарп" на другую дорожку. Загремела "Хвалите господу с небес" - торжественная литургия Петра Ильича Чайковского. Цыгана Мару литургия приводит в состояние почти невменяемое, бессознательное, неконтролируемое. И происходит это моментально. И сейчас, прервав себя, он тут же умялся куда-то в уголок, и мы его уже долго не видели и не слышали.

А "маленький черноголовый боец" - об этом рассказывать надобно. Рассказ примечательный и дорогого стоит. Смеха и слез стоит, судари.

Вот совсем скоро, через час - другой, он начнет совершенно естественно говорить: "Садис" - это значит "садись", выговор почти старого МХАТа, "снурок", - вместо шнурок, это вообще из каких-то потаенных глубин. Цыган Мара закончил филологический факультет, но это не университетское, это природное. Хотя, природное... На что она только не способна, матушка-природа, что только не творила за века человеческой жизни.

В семь лет Колку - так в семье звали Николая Закайнова - украли кочующие соплеменники. Сначала Колка вел себя в расчете на вариант "далеко ли здесь до канадской границы", но цыгане - не чудаковатые и добрые жулики с дикого американского Запада. Кочевье, в которое Колка попал, было особенно жестоким, а тот романтический ореол, что окружает этих бродяг-коммерсантов, уже даже для нас исчез.

Дома в это время жили в страшном сердечно-душевном переполохе отец Колки, кузнец, и мать, доярка. Они-то уж и язык родной забыли, еще их мать и отец осели в этом забайкальском селе - то бишь Колкины дедушка и бабушка. И разговаривали на местном диалекте - деревня деревней. Но язык самостоятельный, как будто дом деревенский у околицы: горсть гвоздей, бревна без червоточинки, и стоит уже незапамятно с каких лет.

То, что Колка ежеминутно - это не преувеличение, самый натуральный реализм - дрался с цыганами, это в таборе никого не трогало. То, что переругивался даже с бароном, главой кочевья, это тоже считалось небольшой бедой. В конце концов обломается. То, что ел за троих, таких же как он, семилетних - и это тоже с трудом, но терпели. В надежде на будущее. Но вот с будущим как раз все было проблематично. И то, что Колка уже четвертый месяц наотрез отказывался промышлять - помогать взрослым в их полуворовской, и самой настоящей спекулянтской работе, - это вызывало не то что гнев, тайфун - ураган цыганских чувств и эмоций.

Мне трудно пересказывать эти страсти. Во-первых, не видел, во-вторых, из Цыгана Мары эту историю буквально по капле выдавливать приходится, ну и, в-третьих, какой из меня цыган...

Короче, когда все доводы исчерпали, начали Колку лупцевать почем зря. И не просто, и не походя, а методично, целенаправленно и, не будем бояться этого слова, функционально. В обед и вечером привязывали к дереву, лицом к стволу, чтоб не приходилось ловить изворотливого и выносливого цыганенка, и били кнутом. В обед меньше, вечером больше. Чем это было вызвано - больше-меньше - Цыган Мара не знает. Через две недели Колка почти не держался на ногах, и они его возили в арбе.

Но потом на него плюнули и махнули рукой. Барон понял, что здесь характер, а не лень или непонимание. И в один, нет, в одно прекрасное утро, Колка проснулся на голой земле, в степи - табор снялся потихоньку, оставив его на произвол судьбы. Хорошо, конечно, что до смерти не забили. Цыган Мара как-то обронил, что вполне могли.

Но барон не ошибся – характер был. И ничуть семилетний Колка не испугался, и не растерялся, и не разревелся, по-своему, по-семилетнему. Будущий "маленький черноголовый боец" два дня брел по степи, питаясь чем попало, рвал травы, вырывал корни и добрал-таки до железнодорожного разъезда. До Читы было три часа езды тихоходной "кукушкой", куда его посадила сердобольная жена зрителя, сунув целую котомку вкусных пирожков с мясом. В Чите Колка добровольно сдался железнодорожной милиции, сделали запрос, и еще через восемь часов Колка, отмытый и зацелованный, блаженствовал в чистой постели, у которой по очереди до утра, не сговариваясь, да и не разговаривая между собой, сидели отец да мать – наглядеться не могли на своего черномазого "вождя краснокожих".

Вообще говоря, при его выдающихся способностях, совершенно не детских, Колка мог бы смотаться из этого фашиствующего табора в любой день и час, в любую минуту. Но не сбежал. Я, конечно, спрашивал Цыгана Мару, в чем тут дело, но, кажется, Колка и сам этого не знал – лишь, чувствовал, а чувство словами не всегда передашь.

Есть в Колка, в Цыгане Маре, что-то такое, незаметно-несокрушимое. То, что большинству людей никогда и ни при каких обстоятельствах не понять. И лишь потому, что большинство такого качества (к счастью, пожалуй), не имеет. Тут так: иметь или не иметь. Все. Третьего не дано, будь ты хоть разпсихолог, хоть разфилософ.

На этом, к сожалению, точку не поставишь. А может, как это цинично не прозвучит, и не к сожалению.

Кочевал с табором один цыган, садист самый настоящий, без каких-либо других, человеческих, примесей. И когда наступила его очередь пороть Колку, он, сволочь, взял потихоньку от всех плетку со свинчаткой на кончике, и после первого же удара Колка обвис на дереве – свинчатка хлестанула прямо по темечку.

Видимо, было довольно большое сотрясение мозга. Но судьба не привела Колку в больницу, и с башкой что-то сотворилось невероятное. Сначала были дикие головные боли и уже дома врачи считали, что это последствия нервных потрясений. Потом боли прошли. Но Колка стал совсем другим, хотел сказать пацаном, но нет, не пацаном, другим человеком Колка стал.

А человек получился наблюдательный, и, что особенно раздражало окружающих, анализирующий. В школе такого Колку, несмотря на трагическую историю с табором, начали было травить, но быстро бросили это занятие – уже в том раннем детстве он мог впасть в такую бешеную ярость, что это уже и не ярость, а припадок. Тут и до топора недалеко. К тому же, пригрозил поджечь школу. Тогда еще никаких спецшкол для маленьких не было, и все понимали: школа сгорит, а с Колки взятки гладки. Так что учителя поостереглись, а Колка к школе совсем охладел. Заставлял отца ездить с ним в Читу каждую неделю, там ходил в городскую библиотеку. Пока сидел до четырех-пяти дня в читалке, бедный непьющий кузнец маялся по городу, и все же в адрес сына даже про себя ничего плохого не позволял.

Боялись нового Колку, это да, но не осуждали.

А Колка сидел и читал. Все подряд: Толстого, Хемингуэя, Тургенева, Кафку, Твардовского, Некрасова, дореволюционного и нынешнего, Виктора Платоновича, тогда еще советского гражданина, только что появившегося Булгакова, и нашумевший (не для Колки – он и не представлял, что за бестселлер читает) "Один день Ивана Денисовича".. . Словом, все подряд,

- И в гробе он нас всех видел, – грубо констатировал отец, приезжая домой.

Это было, конечно, не так. Деревню свою Колка любил, но что скучно ему в ней стало, это правда, от которой, как от себя самого, не убежишь. Книги, в которых он многое не понимал, навевали какие-то неясные, но яркие, впечатления. Он, например, так и не понял, почему Хемингуэй перестал ходить в гости к Гертруде Стайн, но Париж остался в ассоциативной памяти: разноцветный и жаркий, и в морозящем дожде. Париж Колка запомнил навсегда.

И вот тогда он почувствовал язык. Ну, что говорить, чокнутый, конечно: в одиннадцать лет засел за учебник исторической грамматики! Уму непостижимо. Никакому: ни студенческому, ни аспирантскому, ни докторскому... И уж конечно ни школьному. Колка потихоньку писал страстные

стихи о любви, и невыносимо мучился, когда при нем коверкали слова. Уже взрослым парнем Колка чуть не получил психическое расстройство от парадоксального высказывания одной, незнакомой ему гражданки. Он неделю ходил сам не свой, все переживал необычность ее словосочетаний. А всего-то и было: наступила ему на ногу в трамвае одна пожилая хабалка, Колка, - впрочем, не Колка, а уже вполне Цыган Мара, отошел чуть-чуть, а она подвинулась и опять стала на его блестящий белый ботинок, тут уж и вежливый и предупредительный Цыган Мара не выдержал, и попросил ее сойти с ноги, и пройти немного вперед, и, боже мой, что тут началось, ни приведи Господь, и все какими-то подлыми, на последней грани цензурности, словами, который Цыган Мара не терпел, и он еще раз не выдержал и сказал: «Послушайте, но я же совершенно спокойно сказал вам...» на что гражданка спокойно вдруг выдала: "А я вам культурно отвечаю - отъе... от меня".

Как уже там Цыган Мара вышел из трамвая, он не помнит, а дома смех напал, жуткий смех, три дня ходил, похохатывал, народ от него шарахался. Потом прошло. Но рубец остался.

Примерно об эту же пору его и достал корреспондент университетской многотиражки, человек трудной судьбы, украинец и чукча, пополам, Петр Лаонидович Леутытин. Его мама, родом из Житомира, когда-то жила в Уэлене. Ну и полюбила мастера из косторезной мастерской, в результате - Петр Леонидович Леутытин, человек яркий, путаный и неугомонный. Между прочим, до университета сидел. Но даже ректор, когда ему доложили, что на факультет журналистики пробрался обманным путем человек трудной судьбы, только рукой махнул, когда узнал, за что Петя сидел.

Вообще, сейчас он все подает в мистическом свете. Дескать, благодать какая-то (но уже не божья, конечно), снизошла, сам не знал, что делал, руки делали все сами, ноги тоже, а голова в отключке была. А делали руки и ноги вот что.

Маманя Леутытина давным-давно переехала из Уэлена в Оренбург, а потом в район Семипалатинска. Там Петька жил с новым отцом, Вундербаром Африканом Рудольфовичем, работал слесарем. И чёрт дёрнул Африкана Рудольфовича взять Петюнчика в степь, на охоту. Там все и случилось.

Мужики уехали гонять этих самых джейранов, или косуль, или ещё кого-то, Петька в этом не понимал ничего. Он сидел на становище, варил гречневую кашу, потом добавлял туда тушенку. Сам же пиво попивал, мужиков дожидался, отчима своего, горячо любимого, Африкана Рудольфовича Вундербара. В эти минуты благоденствия, настиг чёрный рок, и был отмечен Петюнчик перстом судьбы. Он говорит, что сначала все помутилось, до обморока, Петюнчик очнулся на карачках, потный, а в голове уже ясно, и голос: "Пойди в палатку, дурень, возьми пассатижи и отвертку. Дело есть".

Петька как стоял так и пошел. А голос: "Ты че, охренел, с горя? На двух конечностях уже не можешь передвигаться?"

- А сам-то, - посмел наконец огрызнуться Петька и встал на ноги. Тут же получил хорошего пенделя.

- Молчу, молчу.

- Эт хорошо. Молчи. Все молча делай.

А потом Петюнчик шел по степи два часа без остановки, как по компасу. В четыре утра увидел (очень неожиданно) прямо перед собой круглую кабину космического летательного аппарата.

- Вот. - Сказал голос - Давай, действуй.

Петька безропотно, но и без всякого страха, подошел к шарiku, огляделся, поклонил палец, попробовал, не горячо ли. Кабина была холодной и Петька быстро и ловко начал шуровать отверткой и пассатижами...

Он был уже на полдороге к месту своей стоянки, когда над космическим путешественником появился первый вертолет из поисковой группы. Прилетевшие лишь на третьем специалисты осмотрели шар и остались довольны: космос обошелся с ним милостиво. А двое особо секретных сотрудника проверили пломбы, они были безукоризненны. И лишь после этого начали вскрывать опустившийся на родную грешную землю отсек.

Внутри тоже все было в порядке. В центре кабины, в хорошем научном кресле сидел ярко-оранжевый довольный человеческий муляж. Специалисты обнюхали все вокруг, а потом за него принялись. Через три минуты, один из них, тот, который отвечал за нижнюю часть муляжа, сначала замер, а потом, заикаясь, сказал коллеге по верху: "Гляди... Ничего не пойму... Он же в шнурованных ботинках был..."

Действительно, что-то тут было не так. Это, бы и посторонний понял. Прекрасно одетый во все оранжевое, муляж отсвечивал в полумраке кабины глянцевитыми серыми пятками. Ребята - живые, настоящие - помрачнели, но до них сразу еще не дошло. Они позвали секретных специалистов, а вот те все поняли с первого взгляда.

- Объект закрыт для всех. - Объявил старший, подполковник Михаил Пиццын. - Майор, встаньте у входа для охранения. Вызовите первого, доложите.

Майор Виктор Соков выполнил приказание и задумался. А вот этого делать ему не следовало. Чертовщиной несло от космического происшествия. Майор почувствовал чудовищную слабость, и позавидовал ученым, которые допивали уже вторую бутылку "Московской" неподалеку от шарика. Он вдруг - для себя, для себя вдруг - первый раз в жизни и без малейшего колебания оставил пост, и попросил мужиков: "Плескните полстакана".

Тут уж стоит ученых-специалистов пожалеть, и не в том дело, что водку жалко, нет, не в этом, хотя и в этом тоже. А в том, что это для них было потрясением не меньшим, чем таинственное исчезновение шнурованных ботинок. Чтобы особо секретный майор бросил пост, на который его у них на глазах поставили, да еще водку начал лакать... Парни почувствовали, что сходят с ума. Поэтому они и майору целый стакан поднесли, и себя не обидели.

- Главное дело пломбы и замки в полном порядке, - через несколько минут жаловался захмелевший моментально майор, - не иначе на старте парня разули.

- Не, - махал левой рукой ученый-специалист, - это игрец. Поиграет, поиграет и положит на место. Обует, то есть.

И он быстренько опоражнивал стакан. А его старший коллега вообще не снес что-то несусветное.

- Надо меньше пить,- говорил он? - и больше работать. Тогда будет много денег и мало свободного времени.

- Точно, брат, - соглашался майор, - плескани еще полстакана, а?

Они вопросительно глядели на совсем уж старшего специалиста Виталия Александровича Ганюшкина, профессор степенно разрешающе кивал, и, глядя в степь своим неподвижным тяжелым взглядом, начинал акынскую историю.

- Пройдет, ребятушки, каких-нибудь несчастных двадцать-тридцать лет, и космос окажется совсем другим. Контора наша станет частной лавочкой, называться будет что-то вроде «Гроссмудкосмос», и, в ней такие будут делаться дела! Наливай.

Они выпили, и акын продолжил.

- Ботинки! Какие на фиг ботинки! Пошлют корабль на орбиту с двумя двигателями. Остальные руководство фирмы продаст из под В Поднебесную. Полугодовой продуктовый паек спиждят у одного космонавта. Тот в полете обнаружит, так они ему новое задание – экстремальное голодание на орбите! И задания какие-то у потомков, так-то и не придумаешь. Наш товарищ, ученый-биолог, на сегодняшний день он пацан еще, с ума сойдет в открытом космосе : ему надо будет восемь месяцев слушать песни одного певца. Прилетит, найдет певца, поставит на перо... Шкандал! Кое-как Героя дали. А певец тот вылечился, перекрасился, и сел через полгода за финансовые операции с нефтью...Так он, представляете, несколько лет его на зоне «подогревал»!

-За финансовые операции с чем?

- С нефтью.

- Это как это?

- Сам не пойму. – признается Виталий Александрович, - согласен, бред какой-то. Но, с другой стороны, известно же : «жизнь есть сон».

Спецы скептически крутили пальцами у висков, наливали, слушали тишину степи. И лишь майор Соков верил профессору. Мозги его начинали свою эволюцию под проникающим во все клетки взглядом Ганюшкина. В левом полушарии уже звучали первые такты «Baila chili cha», назойливое ча-ча-ча из будущего...

Время спрессовалось. И когда подполковник Пиццын хватился наружного охранения, было уже поздно. Майор так уханькался, что едва в воздухе появился сам СП (Сергей Павлович Королев, царствие ему небесное), охранника пришлось прятать в вертолете. А грозный конструктор в бешенстве перечеркнул равнодушный муляж масляной краской - эксперимент вышел нечистый - покрыл всех окрест и еще дальше, и, распаясь уже не на шутку, улетел от греха подальше.

Петюню взяли через неделю. И еще неделю он просидел в КПЗ, под следствием. Но все это быстро кончилось, и до суда отпустили домой. Там его ждал неутешный отчим Африкан Рудольфович Вундербар. Каждый вечер он рвал на себе волосы и рубашку, проклиная судьбу. Отчим считал, что на девяносто процентов это его вина, поскольку именно он взял с собой пасынка на охоту. Истинно славянский характер был у этого казахского немца. Петька понаблюдал за ним, за его мучениями, и рассказал ему о видении, или как это называть-то?

\*\*\*

Африкан Рудольфович Вундербар в Петькину версию верить наотрез отказался. Дескать, я тебя особо-то не виню, так что ври-ври, да знай меру.

Но даром им этот случай не прошел. Петька, конечно, богохульствовал, ерничал, и попросту издевался над отчимом. И все-таки в одном он оказался прав. Африкан Рудольфович Вундербар, уже после того, как Петюна посадили, задумался о жизни. Всерьез задумался. Ходил мрачный, потерянный, потом в один день, даже не посоветовавшись с матерью Петра Леонидовича Леутытина, собрался и махнул в область. Там нашел ОВИР и подал прошение о желании выехать на историческую родину, в страну ФРГ, в частности - в город Гамбург. Исполнение желания затянулось на долгие годы, принесло много неприятностей. Не отпускали по разным причинам, в том числе и по той, что усыновленный Африканом Рудольфовичем Вундербаром, в настоящее время заключенный ИТК № 25678, Петр Леонидович Леутытин, еще недавно имел самое непосредственное отношение к космической технике страны, являющейся большим, как известно, секретом. Дело доходило до плоских шуток. Один чиновник решил пошутить, и сказал Африкану Рудольфовичу Вундербару, что, имея уважение к нему лично, и к его имени, он может выхлопотать ему разрешение на выезд в Африку, на это Африкан Рудольфович Вундербар вышел в коридор и переписал прошение с ФРГ на Анголу. Только чудом тогда не вызвали "Скорую помощь".

Петюн на суде конский цирк устроил, и за это поплатился. Там выступали серьезные, академически спокойные люди, и даже бывшему майору Виктору Сокову дали слово. Бедняга, конечно, вот уж кто чуть с ума не сошел, когда проснулся, и вспомнил вчерашнее. Скинули звездочку и перевели куда-то в архив, пожалели, словом.

А Петюн все свое гнул: "голос", "благодать", "знамение", по-ученому сомнамбулизм, а в последнем слове с кривой улыбочкой заявил, что он завербован разведкой космических пришельцев. Устроили целых две психиатрических экспертизы, все нормально, дееспособный хлопец. Наконец судье все это надоело и он дал ему три года общего режима. Там-то, в колонии с таким общим режимом, Петюн понял, что он журналист. Вообще, из таких он людей, Петр Леонидович Леутытин, нигде не растеряется, везде себя найдет. В зоне, выпуская стенгазету, как она у них там называется, "Солнце всходит и заходит", за это на лесоповал почти не ходил, и жрал от пуза. Зеки его не то, чтобы не любили, не замечали больше, так же, как и творение его ума и сердца.

Вот так он к нам и попал. То есть, конечно, не совсем уж прямо из зоны да на факультет. Петюн, освободившись, махнул в Зеравшан, а времена были... Ох, времена. В Узбекистане тогда был самый расцвет времени, которое впоследствии назовут застойным. Он устроился в городскую газету, звал

отца, Африкана Рудольфовича Вундербара, маманю свою, непутевую, но те, запуганные уже властями донельзя, боялись нос высунуть из деревни. И Петька начал вовсю холостяковать. Жил на квартире... Пиво пил, да баранину ел. Причем делал это весьма оригинально. Обычно в понедельник влетал в редакцию, орал: "Это же феноменально. За год не потерял ни одной овцы! Это же не чабан - золото!" Все уже привыкли к Петькиным воплям, и редактор, кряхтя от неудержимой наглости подчиненного, давал ему свой "Газик". Петька уезжал к чабану, и неделю как раз и пил то условное пиво, и ел абсолютно безусловную баранину. Чабан (вернее чабаны), те уже не кряхтели, а как-то особенно, по-узбекски, причмокивали толстыми губами от удовольствия, потому как Петька действительно тискал на второй полосе их фотографии с небольшой подписью, а в анкетах писал, что он фотоочеркист. Вообще, всё было похоже на своеобразный обмен, напоминало, во всяком случае, полунатуральный обмен, и Петюн, как сыр в масле, и чабаны со славой. В редакции на это не только не обращали внимания, наоборот, вся редакция старалась так жить. Но потом Петюн затосковал, обрыдло ему все это полубайское существование, и он приехал в Иркутск.

Вот тогда-то ректор и махнул удивленно-благодарно рукой, хмыкнул вполне доброжелательно. Это даже помогло Петюну - к его биографии уже не только не придирались, а смотрели с уважением. Так смотрели, будто Петр Леонидович Леутытин был кавалером ордена Боевого Красного знамени и убелен суровыми сединами. А Петьке только того и надо...

С Цыганом Марой они встречались раз в неделю - на военке. Филфак и журфак - их мужское население - не враждовали, но и особо не дружили. Так, привет. и легкий кивок при встрече. А познакомились в стройотряде, где-то около Усть-Илима.

Цыган Мара второй месяц работал бетонщиком на коровнике. Петр Леонидович Леутытин отбывал практику в университетской многотиражке. Оба были довольны - первый тем, что дышал вольным деревенским воздухом, второй - что городским, но зато без лекций, семинаров и зачетов.

Петюна послали писать целую серию заметок об этом университетском стройотряде. Он приехал, поклонился по роще, пока студенты работали, потом нашел розовощекого Старину Эмму (кстати, хозяина квартиры номер сорок пять, где мы сейчас благоденствуем). Только пухлые его щеки опали, румянец же остался, и Старина Эмма теперь похож на вполне лояльного бывшего политкаторжанина. Поскольку розовощекий был в те времена комиссаром, Петюн вполне официально ему представился, дурачась, а потом также по дурному заржал. Старина Эмма поморщился, но промолчал. Петюн перестал паясничать, и попросил кандидатуры.

- Изволь, - сказал будущий политкаторжанин, - сколько угодно. Хоть весь стройотряд...

- Ладно, уж так и весь, - пробурчал Петюн, - давай так: у кого за эту неделю самая высокая выработка?

- Счас, по нарядам проверим.

Оказалось, лучше всех и больше всех работал бетонщик Цыган Мара. Он и стал кандидатурой. Дальше все было делом техники, хорошо освоенной Петюнчиком еще в Зеравшане. Одного он только не учел, что Цыган Мара, это ведь не тамошний чабан. Другое, так сказать, воспитание, другой интеллект. Да-а, все другое, что ни говори. И Петюн с этим фактом столкнулся.

Многотиражная газета пришла в отряд через неделю, и на первой полосе - зарисовка Леутытина о Цыгане Маре. Этот акын так сладкоголосо спел свою песню, что Цыган Мара за сердце хватался, пока читал. И когда он дошел до фразы "...и еще много чего умеет этот маленький черноголовый боец", то не выдержал, побежал бить Петюна.

- Мара! Мара! - Кричали ему вслед остальные бойцы. - А винт? Возьми винт, Мара, и сними со своего винта эту гадость...

Но Цыган Мара немудрящих бойцовских шуток не слышал. Контуженное темя дало себя знать - он совсем ничего не слышал, а только искал глазами серую курточку Петьки. И когда он ее увидел, то это была уже вовсе не курточка, а плащ матадора. Он и ринулся в атаку как молодой бычок - небольшого роста, крепко сбитый, сопящий и молчащий, без предупреждения.



Бить Петюна одновременно просто и непросто. Просто в том смысле, что физически он не очень-то развит, сам по себе, по конституции своей. Но упрямства у него не меньше, чем у Цыгана Мары. И дерется он не до первой крови, а до потери сознания. И если даже уже встать не может, то крикнет с земли что-нибудь такое, что приводит успокаивающегося противника в прежнюю ярость. С Цыганом Марой он поступил точно так же, как и со всеми, но ведь Цыган-то Мара - не такой, как все...

Повезло, словом, Петюну, хотя, правы были стройорядовцы, гадость он приличная.

- Что, - орал поверженный виртуоз пера, - что, не нравится, маленький черноголовый,...

Вместо слова "боец" он говорил другое, еще менее приличное.

- А мне ты не нравишься со своими выкрутасами, цаца хренова,- продолжал брызгать кровавой слюной Петюн, - ишь, интеллигент первого поколения. Русский он обожает, погляди на него. Да кому он сегодня нужен, твой дурацкий правильный язык, книжки твои... Никому ничего не надо, а ты... культуртрегер... Крошка Цахис... твою мать...

Лучше бы он не поминал гуманиста Гофмана (Петюн люто возненавидел писателя-сказочника за свой прокол на последнем экзамене по зарубежке). Крошка Цахис звучало с национальным оттенком, причем оскорбительным. Раньше так выражались дворники из союза Михаила-архангела - призывали спасти Россию от жидов пархатых.

Впрочем, что значит, лучше бы?! Ведь именно это его и спасло. Цыган Мара ошеломленный Петькиным оскорблением, пришел, наконец, в ум, понял, что бить за серость и тупость - пустое, неблагодарное, да и неблагородное дело. Он бросил Петюна, но чувствительная душа Цыгана Мары еще раскачивалась, мыча что-то от боли, непонимания, страдая от безысходности жизни.

Не то, чтобы Гофман был близок Цыгану Маре... Нет, он его, скорее, недолюбливал за сусальность.

Но, как ни крути, писатель из девятнадцатого, любимого Цыганом Марой, века, был гуманист, и уже за это достоин уважения. А тут...

Леутытин ударил в точку. Содрогаясь от мерзости, отвращения, от того, что Петюн оказался не просто болван, а с ассенизационным оттенком, Цыган Мара взялся, было, за бетон, но не тут-то было. Бетон в этот день не завезли. Он размешал остатки и ушел в барак, где они жили скопом.

В углу, за маленьким столиком, весь светился в ярких лучах солнца розовощекий Старина Эмма. Он заполнял какую-то очередную бумагу-сводку и еще не знал, что его подчиненный только что мутузил корреспондента Петюнчика. Потому Эмма выглядел очень самодовольно. Цыган Мара посмотрел на него издали, и решил не тянуть. Все равно Петюн - уж ему-то во всяком случае - наступит. Да и потом, друзья все же...

- погоди, он что, совсем, что ли?! - воскликнул Старина Эмма в момент кульминации. - Какой же ты к черту еврей?

Удар был покрепче Петюнькиного, так бить нельзя. Это - мое мнение - удар поддых. Этого Цыган Мара уже перенести не смог. Он замычал уже вслух, потом, сверкнув своими черными глазами, отвернулся от стола, и тихо пошел. Идти особо было некуда, и Цыган Мара уткнулся в подушку. Старина Эмма покачал головой, и продолжил подготовку данных за проработанный период.

В двенадцать барак спорил и шумел на все лады, кроме бетона им не подвезли и многое другое: арматуру, дверные прямоугольники, кирпич, наконец. Старина Эмма недовольно почёсывал муляжно широкую грудь и ворчал: "Отдыхайте. Разберемся. Дело такое, сегодня нет, завтра есть..."

Цыган Мара продолжал страдать. Внутри жгло, плохо было, хотелось все бросить, уехать в свою деревню, пожить там вволю без прессы, факультета, стройотряда, а теперь вот еще и без национальных проблем. И, конечно, жутко хотелось выпить. Но спиртного окрест на сто километров не было, да и в стройотряде добровольный - а, значит, самый жестокий - сухой закон. Цыган Мара глубже зарывался в подушку и сопел.

И тут - сказочное дело, читатель, - в бараке появились мужики из деревни Суглинок, три километра ходу по прямой.

Мужики мялись, искали главного. Наконец, кто-то показал им на Старину Эмму. Они пошептались с ним горячо и истово (мужики, конечно, а не сам Эмма). Наконец он недовольно почесал грудь, и кивнул: согласен, стало быть. Через минуты две Старина Эмма залез на свой рабочий столик, и

заорал: "Внимание, стройотряд! Внимание. Говорю я, комиссар. Передача прямо в эфир. Передаю объявление. К командованию обратилось население деревни Суглинок с оригинальной просьбой - им нужен баянист. Есть ли среди нас маэстро? Пусть отзовется".

- А на кой? - Кто-то довольно грубо поинтересовался. Мужики совсем одеревенели.

- Это кто там? Волченко? Я тебе покажу "на кой". Филолог.

- И все же, зачем баянист-то? На фи́га ко́зе баян? И где местный?

- Объясняю. - Неохотно объяснял комиссар. - Местный товарищ ездил к сыну на БАМ, теперь валяется с желтухой. А баянист нужен на свадьбу, потому как известно, что какая свадьба без баяна...

- А платить будут?

- Да вы что, ребята?! Это по-комсомольски, платить? Да у кого язык повернулся, пусть покажется...

- Шутка. Поесть-попить-то можно будет?

- Тут, товарищи, вот какое дело. - Не выдержал один из мужиков. - И заплатим, и накормим, и...

Он замялся. Комиссар понимающе кивнул. Но именно после этого обещания все вопросы кончились. И вообще все кончилось. Ребята сидели и молчали. Потом кто-то начал шептаться о своем.

- Так что, нет баяниста? - Удивился Старина Эмма. - Есть или нет?

Все опять замолчали, прекратили шептаться. Маэстро не было, мужики пригорюнились. Волченко потихоньку ржал.

- Что же вы, черти, голову морочили, расспрашивали полчаса?

- Так интересно же.

- Это как же это нет маэстро, - раздался с полатей голос Цыгана Мары, - а я кто, по-вашему? Да я с семи лет, с табора еще, из рук баян не выпускал. Да на меня двенадцать деревень богу молились, пока я на ваш несчастный факультет не поступил...

- А по-русски можешь? - Осторожно спросил коренной сельский житель.

- Не понял! - Торчком встал Цыган Мара. - Что вы имеете в виду?

- Да ничего, ничего, - опять смешался селянин, - ты вот, говоришь, из табора, ну я и подумал... по-русски-то...

- Всю народную русскую классику. И ненародную. Всю. Всю классику, ясно!

- Это... классику... да. А там чтобы частушки, да в круговую, а?

- Да я же сказал, - всю народную.

- Ясно. Спасибо, парень. Так собирайся, чо?

Один Старина Эмма настороженно отнесся к заявлению Цыгана Мары. Они дружили уже не первый год, и он ни разу не слышал, что Цыган Мара умеет играть на баяне. С другой стороны, какой уж там баян в их суперцивилизованных заботах и утехах. Да и отказать мужикам было уже невозможно. Цыгана Мару собрали всем миром, отутюжили, значков кучу понацепили, а Старина Эмма что-то шептал вслед. И ушли они, как говорят и пишут, солнцем палимые - солнце палило и впрямь немилосердно.

О дальнейшем проникательному читателю нетрудно догадаться.

В пять часов пополудни на дороге от деревни Суглинок по направлению к стройотряду появился смерч-столб пыли. Не шесть, конечно, метров, но метра полтора было. Причем, погода существенно не менялась. Смерч подталкивали суглинские мужики, ногами, редко кто руками. В эпицентре пыльного столба находился Цыган Мара.

Мужики бросили его на полдороге, увидев стройотрядовцев. И не спеша двинулись домой. В их спинах чувствовалась большая правота, и бойцы селян догонять не стали. Растерзанный и пьяный Цыган Мара блаженно улыбался разбитыми губами. Это сначала. Потом он как затянул унылую: "Разлука ты, разлука, чужая сторона", правой рукой накручивая воображаемую шарманку, так и не затыкался, пока не заснул. Все было на нем порвано, кроме галстука, который дал полоборота по цыганской шее, и находился аккурат посреди спины. Старина Эмма долго сидел около кровати, опять нашептывая: "Нет, - твердил он свою молитву, - этого мы себе позволить сейчас не можем." А наутро, конечно, дело, натуральное раскаяние, да и покаяние тоже, дескать, нервы ребята, не выдержали, Петюн, собака, своим «очерком», довел до ручки, до неприкрытого обмана населения,

наглого, поправлял Старина Эмма, и Цыган Мара безропотно соглашался, куда деваться, а потом последовал рассказ, как Цыгана Мару усадили в красный угол, да потчевать начали, как он за двадцать минут хлобыстнул три стакана самогона, а мужики смотрели, жалеючи, сокрушались, до чего, мол, довели себя, ребята, как хлыстуны какие живете, нельзя так, нельзя, соглашался Цыган Мара, трезвый на последних секундах, потом он уже и сам требовал себе самогону, поначалу не возражали, а потом мужики что-то сообразили, и сунули в руки маэстро баян, хотя до вечера, до настоящей, плясовой, музыки, было далеко, и тут им Цыган Мара такое сбацал, что каждому стало ясно - баяна он в руках прежде не держал.

Цыган Мара потом говорил, что, кажется, даже меха не сумел растянуть. Как-будто это его красит. Когда мужики начали маэстро «учить», все уже было бесполезно: их же местная анестезия, и способность Цыгана Мары терпеть боль... Да еще, мне кажется, надо было Цыгану Маре пострадать в тот день. Мало было, надо было еще, а потом еще и еще... Как это сделать, он не знал, вот и обрадовался мужикам.

Но пострадал знатно.

\* \* \*

Все шло по заведенному давно порядку. Споры возникали недолгие, но смерчевые. Пили "Окейю", преимущественно, она всем пришлась по душе. Цыган Мара вышел из музыкального транса, сидел, привалившись к плечу Аркадьича, дальше Иностранец, Адам Смит, Старина Эмма, Зайцаца, Охотник Терпения, мы с мадам Пугачевой... Еще были люди, совсем разные, но и одинаковые были тоже. Чего только не несло из углов и уголков: террористы Симеоны, парламентские дебаты, приезд госпожи Тетчер, отдельно - ее отъезд, восхищение поэтом, уничтожение поэта, мотивация произведений, любимых спорщиками...

- Я его видел, - уже горячась, повышал голос Охотник Терпения, - как тебя сейчас, видел. Огромный, под два метра, волосатый, рожа полуобезьянья, получеловечья. Испугался, конечно...

- Кто?

- Как кто? Я, что ли?! Йети, конечно. У меня, слава богу, карабин американский, мне бояться нечего. Всажу обойму, марсианин окочурится, не то что этот, доисторический. За полкилометра лупить можно, а соболю только с ним...

- Что ты...блюю?

- На соболя охочусь.

- Ну, а йети-то? Что дальше было?

- А ничего не было. Он ведь прямо к нашему зимовью ткнулся мы выскочили, он сбежал. Ну, прошлись километра полтора по следам, потом плюнули, завтра вставать в полпятого, идти за соболем. Вообще, конечно, интересно.

- Интересно, - пробурчал Аркадьич, - интересно должно быть и ему тоже, этом Йети. Вот этот обоюдный интерес его и погубит. И чего к парням привязались? Ну, выжили они как-то, не хотят с нами дела иметь, так, любопытствуют. Ну и правильно, между-прочим, делают. Надо сохранять себя..., а с нами развеохранишь?

- В таком случае, все мы тут йети, - сказал Цыган Мара.

- Да ну? - грустно усмехнулся Аркадьич.

- А ты считаешь, что нет? - Как-то нервозно спросил Иностранец.

Все помаленьку прислушивались к их разговору.

- А я считаю, что нет. Вернее, не все мы тут йети.

- Может ты поконкретнее?

- Чего ты суетишься, Иностранец? А, впрочем, изволь. Вот я умру скоро...

- Иды ты?!

- Ну, не умру - погибну. Одно и тоже ведь.

- Иди ты...

- Иду, иду. - Куда идти только. Налево пойдешь - в дерьмо попадешь, прямо и направо - то же самое. Ничто не вечно под луной, вот и мы кончаемся. Йети... Придумают же... Да йети - ангелы по сравнению с нами. Один уже предает втихую, другой за карьеру, ни сегодня – завтра, кому-нибудь башку оторвет... Со злости. А этот - деньги копит...

И он, кивнул на Адама Смита. Огромный тезка знаменитого экономиста встал и сгреб правой ладой вмиг съжившегося Аркадьича. Поэт боли не любил, боялся ее, но все же у него хватило мужества сделать заключение: "Нет, ребята, не по пути мне..."

- Это ты правильно сказал, что погибнешь, - нехорошо, холодно улыбнулся Адам Смит.

Наверное Аркадьич не погиб бы все же. Хотя Адам Смит костолом еще тот. Но не убил бы. Так, жизни бы поучил. А вот этого делать с Аркадьичем нельзя. С любым из нас можно, а с ним - нет. И я, и Иностранец, это прекрасно знаем. Но Иностранец почему-то молчал, тупо уставившись куда-то в сторону. У меня на все про все были секунды. Я начал вставать...

- Сиди! - Шепнула мадам Пугачева и схватила меня за рукав. Она поглядела на Адама Смита пристально и тот начал подпрыгивать на месте. Аркадьича, конечно, бросил. Потом он уже прыгал как самый настоящий йети – под потолком. Известное дело – жжёт пятки нещадно, если мадам Пугачёва за тебя взялась. Дымок появился, её фирменный, пугачёвский, с дьяволинкой, с серным запахом...

- Брось, Рита, - устало как-то произнёс Иностранец. - Хватит с него. Со всех нас на сегодня хватит. Иностранец вышел из комнаты на ходу доставая свое "Мальборо". Адам Смит испуганно присел на краешек дивана. Цыган Мара тоже, **готовившийся** защитить Арадьича, подошел к нему и спросил: "Ну, а мне-то куда идти?"

Аркадьич ответил, куда ему идти. не смотря на присутствие дам. Потом оскалился и сказал: "Тебя обманут. Потом ещё обманут. А потом каждый день обманывать будут, и ты привыкнешь, маленький черноголовый..."

Ой запнулся, посмотрел на побледневшего Цыгана Мару, - и тоже вышел из комнаты.

- Так тебя Рита зовут?

- Приятно познакомиться, да?

- Мне тоже. Только не спрашивай откуда меня Иностранец знает...

Ну, делать это я, как вы помните, зарекся. Хотя, интересно, конечно. Ни иногда как начинаешь интересоваться, так тебе же и хуже. К тому же и Серёга Колесников, и Рита, смотрели на меня с легкой иронией, дескать, чего спрашивать, неужели такой тупой, неужели неясно... Поэтому я держу язык за зубами.

- Ты посиди, Ритуля...

- Ого... Ритуля... Вот это да, Рогов...

Я смутился. В душе я её так называл без всякого стеснения, а тут вырвалось случайно, не проконтролировал.

- Ну посиди пять минут.

- Ладно, иди... Володечка.

Я прорвался сквозь стол, колени, взгляды, напрямик всё в тот же коридор. Иностранец стоял, курил, рядом держался за ручку ванной двери Аркадьич. Он говорил ему: "А с тобой сложнее всех, брат. Вот с тобой – это да. Ты же сам чувствуешь, но ничего поделать с собой не можешь..."

- Ерунда. Ничего такого я не чувствую.

- Это ты бабушке своей расскажи. Чувствуешь, маешься, нервничаешь, и здесь, и там... Богатырские поступки совершаешь... А толку? От судьбы, брат, не убежишь, а она у тебя такая, какая есть.

Воронка, стремнина, только очень сильный может не растеряться, нырнуть глубже, и – в сторону. Ты вряд ли. Вот так мне жаль...

Аркадьич увидел меня, залез Иностранцу в карман, вытащил дорогие сигареты, закурил, и со своим обычным ёром: "Ох, и сладка барская тютюня", скрылся в ванной.

- Пить меньше надо. - Мрачно сказал Иностранец.

- Или больше. – Ответил я.

- Что он и делает, - подумали мы одновременно.

В комнате, в кресле, у незамысловатого витражного окна, меня ждала Ритуля Пугачёва, похудевшая, потоньшевшая, с короткой стрижкой, со своими удивлёнными глазами, и ей было уже никак не под сорок – ей ещё было под все родимые тридцать лет.

Облитая витражными лучами солнца, казалось бы, совсем другая мадам Пугачёва. Но вот только что убедились – та же самая.

- Слушай, а что у вас тут Сергеевых так много?

Я, видимо, так улыбнулся, что Рита, спросившая мимоходом, тут же вцепилась в меня.

- Ну что, что такое... Что за Сергеевы? Что вы, правда, родня здесь все какая-то? Ну, расскажи, мне интересно от тебя услышать.

Я рассказал. Не помню, откуда мы тогда приехали, кажется с осенней страды картофельной.

Промерзли, как ни знаю кто. Как собаки бродячие. Пришли в комнату № 214, в общежитие родное. Бросили жребий, бежать, конечно, выпало Цыгану Маре. Он безропотно взял деньги (много денег, стипендия и какая-то зарплата из совхоза) принес портвейна столько, что тошно и радостно стало. По колено этого портвешка было в тот день в комнате - 214. Вот так и сидели: Иностранец, я, Аркадьич, Цыган Мара, Адам Смит, Старина Эмма, Зайцаца, Охотник Терпения, еще кто-то был, не помню точно. Но только свои. И по закону подлости, в разгар политических дискуссий (впрочем, не только политических) пришла в общежитие комиссия. Ректорская, с представителем обкома партии... Уф-ф, до сих пор страшно. Верней всего, что к нам бы они не зашли, пронесло бы, но когда строгие судьи и нравственные эстеты проходили мимо двери 214, конечно же, Цыган Мара затянул "Боже, царя храни!" Причем, обычно потихоньку поет, а тут грянул как с клироса. Да и то, портвейна-то, как уже говорил, по колено. Грянешь тут.

Члены комиссии несколько секунд в оцепенении слушали непривычную для себя песню, потом без стука вошли посмотреть на монархиста. Тут уже мы оцепенели. Поди, объясни этим "людям из гвоздей", что портвейн только, чтобы не заболеть, не пропустить, не дай бог, лекции по истории партии, а монархический гимн Цыган Мара пел на спор: доказывал Адаму Смиту, что знает все слова. Мы молча глядели друг на друга. Потом члены комиссии вспомнили, кто они, и кто мы. Вспомнили, зачем они здесь, и зачем мы. Засуетились, кто-то из них достал фотоаппарат со вспышкой, появились у самых строгих блокноты в руках. Самый ближний к ним Охотник Терпения. К нему подошла классическая дама - маленькая подсушенная, строгая старушка. и спросила : "Факультет?"

Охотник Терпения молчал. Молчала и старушка. Постепенно прекратили гвалт остальные члены комиссии. В комнате № 214 наконец-то воцарилась тишина.

- Факультет? - Повторила дама, выдержав актерскую паузу. Охотник Терпения смотрел на нее преданными, но бессмысленными глазами, и продолжал молчать. Так же, как и все остальные.

- Факультет? - Голос старушечки, что и говорить, просто звенел. Пауза затягивалась, дальше дама уже выглядела дурочкой. Охотник Терпения этого не понимал. Он подвинулся чуть-чуть ближе к старушке, дав тем самым понять, что понимает, к кому та обращается. Но глаз с нее не спускал и молчал.

- Факультет? - Взвизгнула наконец старуха, бросила на стол блокнот, и засучила ручками перед красной, напряженной, огромной рожей Охотника Терпения. Члены комиссии опять загомонили. Мы молчали.

Чего не знала старушка, да и все остальные члены комиссии: Охотник Терпения не зря так назывался. Он уже тогда, студентом, ездил, летал, вернее, в тайгу под Киренск, подрабатывал на соболях. А чтобы соболя затравить, порой и двух суток мало. Бежишь, сторожишь, опять бежишь, ночуешь на снегу, костерок, тент из брезента, для того, чтобы жар не уходил, и опять погоня. Характер нужен такой же, как у самого зверя. Кто кого... И еще не было случая, чтобы охотник Терпения отступил, проиграл. Это, кстати, очень помогает ему в сегодняшней жизни. Он теперь инспектор райкома партии. Но подрабатывает по-прежнему...

Ну, а старушка... Что ж старушка. Дай ей, как говорится, бог здоровья, после такой проверки. Надо же все-таки чувствовать, что ли, с кем имеешь дело. А так до инсульта...

... До инсульта оставались секунды. Она опять схватила птичьими, сорочьими своими лапками блокнот, и, на срыве голоса, заорала по-своему, по-старушечьи: "Факультет?"

- Кто? - Совсем уж вытаращив глаза, подал, наконец, голос, охотник Терпения.

Старушка, - ей богу не вру, - начала медленно заваливаться на стоявшую рядом кровать. Ее подхватили под ручки, по щекам кто-то дал, воды стакан, и она опять начала розоветь. А за нас взялся здоровенный дядька с широким лицом, широкими плечами, совсем седой, с депутатским значком на лацкане. Как я понимаю, это и был представитель обкома партии. До этого стоял, наблюдал, хмурился, но не вмешивался. А тут всех отодвинул, решительно подошел к Охотнику Терпения, который, отдадим ему должное, отнюдь не сжался, а наоборот, расправил съезжившиеся от старушки, тоже не узкие, плечи.

- Так с какого же вы, все-таки факультета? - спросил мягким томным даже, женским совершенно голосом представитель. Это было настолько неожиданно, что Охотник Терпения на мгновение потерял жесткую стойку, и машинально соврал: "Хто, я? Я с биологического".

- Ясно, - кивнул представитель.

Полная красивая женщина в белокуром парике небрежно черкнула на обложке блокнота. Чтобы сосредоточиться, я смотрел на ее высокую - нет, высочайшую грудь. Потом оказалось, что все остальные сосредотачивались точно так же. Не скажу, чтобы ее это смущало. Дядька продолжал "пытку" Охотника Терпения: "Ну, а фамилия? Фамилия-то как ваша будет?"

- Моя-то? - Конечно, Охотник Терпения понимал, что на этот раз он проиграл схватку. Да и как ее было выиграть? То-то и оно. Но все же он продолжал юродствовать.

- Твоя-то, твоя-то, - начал помаленьку рассерживаться дядька.

- Как моя-то фамилия будет? - задумался Охотник Терпения. И вот тут он переиграл. Мы потом худобно доучивались, а он целый год потерял. Впрочем, что значит потерял - проработал сезон в зверпрохозе, добыл Родине пушнину, себе - кучу денег. До самого диплома хватило. Нет худа без добра.

Дядька, тоже все прекрасно поняв, ждал, суровая. А Охотник Терпения буровил, буровил свои морщины на лбу, а потом, как во сне, взял да и налил себе стакан "бургундского" напитка. Дальше, как говорит киношники, пошел рапид: все в шоке, мы в частичном, комиссия в полном, а Охотник Терпения, воспользовавшись этим состоянием, задумчиво выпивает свой портвейн.

- Так как фамилия? - Дамы загомонили, а дядька и глазом не моргнул.

- Сергеев моя фамилия, - нахально и гордо глядя ему в глаза опять соврал Охотник Терпения.

- Ты закуси, Сергеев, - дядька был сама доброжелательность. Куда вся его суровость пропала; дело принимало серьезный оборот. Он наконец почувствовал, что не один Охотник Терпения оказывает им внутреннее сопротивление: вся комната № 214. А дядька к этому не привык. Точнее, он даже не сталкивался с таким явлением. Поэтому, наверное, растерялся немного, и решил сменить маску.

- После первой не закусываю, - обрадовался Охотник Терпения.

- Оно и видно, - буркнул дяденька. Он круто повернулся, бросил членам комиссии: "Дальше сами разбирайтесь", и вышел из комнаты. Тогда мы, совсем ошарашенные, не обратили на это внимания. Теперь понимаю - вышел он от греха подальше.

- Ну-с, - "белокурая бестия" скрестила руки под грудью, и бюст стал просто нереальным. На наши замутненные рассудки обрушился сатанинский наркотик.

Ей богу, если люди действительно излучают какие-то поля, то у нее это было сексуальное поле.

Причем, сверхмощное. И если раньше оно помогало нам, мы сосредотачивались, то теперь почему-то наоборот - чудовищно расслаблялись.

Мы держались из последних сил. Но держались. К счастью - или к нашему несчастью - женщины, в отличие от их широкоплечего мужского представителя, абсолютно не чувствовали атмосферы 214.

- Ну-с, так ты говоришь...

- Я?! Я ничего не говорю.

- Подожди, - поморщилась белокурая. - Твоя фамилия Сергеев?

- Сергеев. Но говорить я ничего не говорил, не говорю, и говорить не буду...

- Хватит. Помолчи теперь.

- Это да... Молчу... Это всегда - помолчать. Занятие для настоящих мужчин. В тайге по месяцу молчу...

- В какой тайге? - Она растерялась, и наконец убрала руки, и мы облегченно переглянулись.

- Известно, в какой. Недалеко здесь, в сибирской. Молчишь, там, молчишь, все время...

- Заткнись, тварь голоштанная, - откуда-то изнутри вырвалось у пожилой красотки. Видно было, что нечаянно.

- Это как? - Ничуть не обиделся Охотник Терпения. - Голоштанная? Это как? Или уже голая, или уж - штанная.

Он опять задумался. Заодно и замолчал. А белокурая взволнованно заходила по комнате. Ей было не по себе. Остальные члены комиссии с интересом поглядывали то на нее, то на Охотника Терпения.

- Ну, а твоя как фамилия? - Резко обернулась к Зайцаце. Он вздрогнул, подался от нее, глядя прямо-таки с ужасом.

- Кто? Што? Моя-то? Фамилия-то? А как?

- Ты с какого факультета? - Напирала тетка.

- Я? Я, што ли? С факультета, да? Да я только зашел сюда, на минутку зашел. Я уйду счас, вот счас уйду...

- Сначала скажи, с какого факультета...

- С биологического.

- Ну, я так и думала, что одна шайка-лейка. А фамилия?

Тут и Зайцаца глубоко задумался.

- Ну? Ну? Ну как фамилия, а?

- А фамилия моя Сергеев. - Вдруг оказал Зайцаца.

- Та-ак, - удовлетворенно протянула "белокурая бестия" и опять что-то черкнула в блокноте. Она успокаивалась. Все шло как надо, как положено, как заведено. И ничего страшного, чего он ушел, чего затрепыхался, перестраховщик несчастный, всегда так, чуть почует, все на нас, и не только по работе, везде, везде, и чего она с ним до сих пор, подумаешь, заведующий сектором, да если муж узнает, он из этих завсекторов так полетит, что и следа не останется, а ей что, пара оплеух, да скандальчик, а так все по-прежнему, кафедра марксистко-ленинской эстетики, дети, дом, положение - куда ему от нее деться, а Федьке уже сколь раз хотела уши пообрывать, и пообрываю, даром что из одного села, так сколько он на их землячестве уже поимел, ее, наконец, поимел,..

Тут она смутилась, смешалась немного, тряхнула мозгами, прервала дурацкие мысли, баламутные воспоминания, опять за нас взялась. Следующий был Старина Эмма.

- А вы? - Спросила "блондинка" почти добродушно. Прозвучало это примерно "а вы как сюда попали?" Старина Эмма ей понравился, это было видно. Такой курносенький, щечки горят, ямочка на подбородке, турлюлюнчик такой, а туда же, портвейн глотает... Ничего. Исправим.

- А я? - ответил ей Старина Эмма.

- Да, вы. Вы откуда и кто будете?

- Я кто и откуда буду, да?

- Да, - опять занервничала тетка.

- Интересно, интересно, - растерянно продолжил Старина Эмма.

- Что интересно? - громыхнула проверяющая. Старина Эмма ей уже разонравился. - Что интересно, спрашиваю.

- Не знаю, - так же растерянно прогундосил Старина Эмма.

- Вы не знаете кто вы, и с какого факультета?

- Ага. То есть нет - что интересно не знаю.

- А фамилия ваша как? - Зарычала "белокурая".

Старина Эмма посмотрел на нее жалобно, вздохнул, и тихо сказал: "Сергеев моя фамилия".

- Добро, - кивнула тетка, - а где учитесь.

- На биологическом, - почти прошептал Старина Эмма.

- Вот так сразу и надо было сказать, - буркнула строгая женщина. Она записала слова Старины Эммы, и подошла к Адаму Смит. Здоровенный, он даже сидя был с ней вровень. Вел он себя также, как и предыдущие допрашиваемые, глупо улыбался, таращился, кривил рожи... А ответил не дожидаясь вопросов, многословно, но если по существу, то не скажу, что оригинально.

- Я с биологического, пишите. Только что демобилизовался, служил на Дальнем Востоке, воинская часть 61851, танковая дивизия, резервный полк, рота управления, литер Ц, адрес; Благовещенск...

- Стой, стой, стой, - устало перебила проверяющая...

Она и правда утомилась, чувствовала себя не лучше, чем мы.

- Стою, - сказал Адам Смит. Он встал и продолжил. - Был сначала механиком-водителем танка, потом командиром экипажа, а после присвоения звания старшего сержанта переведен на должность замкомвзвода...

- Ой, да посиди, помолчи, - жалобно, по-бабьи, попросила его тетенька. - Тебя как зовут?

- Сержант запаса Сергеев,...

- Вот и ладушки, вот и лад, - шептала она, записывая Адама Смита. А все остальные члены комиссии уже с предельным интересом, чисто по-женски, молча, но не скрывая недобрых чувств, мести, злорадства, насмешки, - наблюдали за ней. И когда Адам Смит попросил: "Вы про замкомвзвода не забудьте записать", она послушно черкнула в блокноте к их большому удовольствию, и к нашему не меньшему удивлению, а бабуля села на кровати: глаза ее были полны жизни.

- А это кто у нас почивает? - как ей показалось с иронией» спросила "белокурая бестия". На кровати, рядом с бабкой, привольно, как великое озеро Байкал, раскинулся Аркадьич. Он спал с первых слов гимна "Боже, царя храни" и ничего, понятно, не слышал и не подозревал. Он проснулся сразу, после ее легкого толчка, увидел прямо перед глазами гипотетический бюст, удовлетворенно потянулся, и хрипло, но с чувством, сказал: "Дорогая Памелла."

- Чо тако? - Опять вырвалось помимо воли. И ни у какой такой ни у Памеллы, а у Татьяны Ермолаевны Чмыревой, уроженки деревни Хомутово, сорок пятого года рождения. Впрочем, Аркадьич и сам уже понял, что перед ним не Памелла, не та, которая грезится, уже почти полчаса. Он загрустил, но со "штиля" уже сойти не смог.

- Ну, тогда выбейте в своих скрижалях: биофак, Сергеев. - Аркадьич проследил, как она записала его в блокнот, подмигнул бабушке на соседней полати, повернулся к стене, и мгновенно захрапел. А тетенька взялась за Цыгана Мару.

- Ну что, певец?

- Аюшки? - Откликнулся Цыган Мара.

- В другом месте теперь петь будем, да?

- Дуэтом?

- Ну, это вряд ли. Дуэт не выйдет. Кто будешь, певец?

- Я и в душе приверженец социализма.

- Посмотрим, посмотрим. А сам-то кто ты, чем занимаешься?

- Сергеевы мы. С под Читы...

- Учишься где?

- А это... На биологическом, де ж мне еще учиться...

- Ясно. - Кивнула, "белокурая" и подошла ко мне.

- Надо ли говорить, что мы с Иностранцем ни в чем не отступили от предыдущих Сергеевых. Но тетку эту мне уже жалко было. Не мысленно, но душевно. Я думал... Так вот, о чем я тогда думал? И не только я, а все мы?

А ни о чем. Верьте, не верьте, но так оно и есть: Ни О Чем Пустая, тупая, уставшая голова. Вот и произошла цепная реакция.



Да, действия, вернее, ответы наши, начиная от Охотника Терпения, и кончая Иностранцем, были подсознательны. Никто не хотел, не намеревался разыгрывать ее. Охотник Терпения сказал, что он Сергеев с биофака, остальные подчинились сказанному. И мы, и проверяющая. Но зла на нее мы не держали. Даже, повторяю, жалко было. Но кто же тут виноват больше: мы или она? Сидела бы в своем Хомутово, а если уж там не сидится, то на кафедре марксистско-ленинской эстетики... Зачем ей эти комиссии? Да и нам они тоже не нужны были. Так бы и жили в разных измерениях. Нет, надо обязательно познакомиться, да еще насильно. А у нас на насилье реакция, бессознательная, а в данном случае, еще и цепная.

Я до сих пор не могу забыть ее по-детски обиженное фарфоровое лицо, с голубыми, полными слез, глазами... Стервозные бабы из комиссии заложили ее- насчет Сергеевых - на следующее же утро. Нас, конечно, тут же разыскали, и началось... Только что отпечатки пальцев не сдали. Все остальное было. И речь, кстати, в основном шла о Сергеевых, а не о самом криминале - портвейне. Ну, еще у Цыгана Мары спросили насчет гимна, но он ответил, что был пьян, что пел, не помнит, а в те годы это считалось смягчающим вину обстоятельством, и Цыгану Маре за гимн лишь пальцем погрозили, за портвейн долго всех отчитывали, но за Сергеевых мы получили сполна. Тут многое было сказано, и о введении в заблуждение, и о идеологической диверсии, и о компрометации властей, и о намеренном издевательстве над "белокурой бестией", завкафедрой и женой, да не просто женой, а женой ого-го-го какого мужа, это, пожалуй, было главным, муж, а не тетка, которая чуть не плакала, а потом и плакала от стыда и горя, непонимания случившегося, за последние десять лет с ней ничего подобного не случалось, и последний раз ее так сильно надул, еще девушкой, Силантий Григорьевич, бухгалтер из совхоза, на сеновале, были слезы, было то же состояние, что и сейчас, но потом, в городе, в пединституте, встретила своего будущего супруга, а его сегодня не только весь Иркутск, вся область боится, и вот какие-то сморчки вонючие...

Слёзы ее наконец-то высохли и она разразилась бессвязной, но все же прокурорской речью, и как это обычно делают прокуроры, потребовала самых жестоких наказаний. Ух, как она нас ненавидела...

В общем-то, все обошлось, но не у всех. Охотник Терпения пострадал за создание знаменитого литературного образа. Три основных драматургических компонента сложились сами до себе, и сложились хорошо и естественно, но, в конце концов, не в его пользу, проверяющий из обкома озверел, и катил на него бочку со страшной силой. Ректор, которому вообще вся история с проверкой была не по душе, нехотя согласился исключить Охотника Терпения из университета на один год. Нам всем объявили всяческие порицания, включая денежные, лишив небольшой стипендии и неожиданно проголосовали за исключение Аркадьича из комсомола. Это был какой-то спонтанный, но в то же время, осознанный, и высший акт со стороны сидящих за длинным и строгим столом. Даже ректор не задумываясь, поднял руку. Но тут дело было не в проверке. Аркадьич в университете был личностью популярной, стихи его читали на всех курсах и факультетах, а после вызывали в компетентные органы. Хотя, на мой взгляд, ничего такого в них не было: были стихи сильные (мало), и слабые (много). Но из комсомола на всякий случай, как видите, исключили. Повод был подходящий...

Начали делать Аркадьичу биографию.

Вновь вступил он в эту организацию следующим летом, но не сам, жизнь заставила. Жизнь в лице замполита роты старшего лейтенанта Курляндского. Мы на сборах были офицерских, пришел он вечером, после отбоя, в казарму, орал что-то, потом спросил, есть ли среди нас совсем уж такие беспартийные, что и не комсомольцы даже. Так, на всякий случай, спросил. И вот на тебе, замполит роты Курляндский, - Аркадьич ... Ну и сразу: что за вид, подворотничок, бляха на ремне, сапоги, а вчера что вы у гаубицы вытворяли, я давно замечаю что-то не то...

"Я тоже", - буркнул Аркадьич.

Курляндский не понял, что и за кем, но уточнить не решился. Он ведь почти ничего и не придумывал: любой мог, маленько сосредоточившись, заметить за Аркадьичем что-то не то... Вот поэтому и уточнять не стал. А уходя уже, вдруг приказал, - старший лейтенант все-таки, замполит

роты, куда там, Герой Советского Союза, - завтра сфотографироваться, а к пяти быть в ленинской комнате уже с фотографиями. Оказывается, он насобирав по ротам человек десять неохваченных, заставил заполнить анкеты, написать заявления, потом отобрал у них документы, уехал в город, а на следующий день в обед отдал Аркадьичу новенький комсомольский билет и учетную карточку. Уже на гражданке Аркадьич спер у кого-то штампик "Уплачено", везде продолжал писать, что он не комсомолец, учетную карточку никуда не сдавал, но взносы - "Уплачено" - аккуратно проставлял сам каждый месяц, и иногда, по настроению записывал в карточку поощрение или порицание.

\* \* \*

- Ха-ха-ха, заливалась Рита» - это так похоже на вас - Сергеевы. Все Сергеевы. Одинаковые, как цыплята. Когда сердитесь, хохолок топорщится. Цыплята из инкубатора...

- Ну нет. Это был не инкубатор, - я удивился, увидев лицо Иностранца. Совсем серое, с четко выделившимися коричневыми подглазьями. Кажется, он "Окейю" мешал с коньяком.

- Нет, не инкубатор. - Упрямо продолжал он, обращаясь и не к Рите, а так, ко всем, и ни к кому. Впрочем, слушали его как раз только я и Рита. - Это устройство по-другому называется. Душегубка это была. Погубительница душ. Выжили только генетически закодированные... Э, да что говорить... Что теперь-то говорить...

- Ну, хотя бы для того, чтобы легче стало.

- Бросьте. Ничего не легче. Тяжелее, душу-то травить тяжело...

- Да ты то, что, Иностранец? - Я уже начал, по правде говоря, нервничать. Рефлексия - это на Иностранца не похоже.

- А вот и то. - Он хлопнул бокал коньячка, судя по всему, принадлежащий Цыгану Маре, чудовищно скривился, и опять куда-то смотался.

- Ну вот, - сказал Адам Смит, - все не слава Богу. Че это с вами сегодня такое, мужики? Звезды на небе так расположились, что ли? Так ведь счас-то день, ночью будем в душе копать.

- Комета Галлея сегодня рядом с нами прошла. - Сказал я. - Теперь будем ждать следующую. Через почти восемьдесят лет.

- Человеческая жизнь, - заметил кто-то.

- Было бы в чем копать, - не удержался Цыган Мара.

- А, - лениво отмахнулся от него Адам Смит, - брось ты, маленький... Молчу, молчу. Тебе кажется, что ее у меня нет, души, но я-то больше тебя знаю - есть или нет...

Ну, дальше пересказывать их спор я не буду - он обычно долог и бездоказателен. С обеих сторон. По-моему, они сами давно уже от него устали, и спорят по многолетней привычке. Тем более, что из ванны донесся ликующий голос Аркадьича:

Когда я в ванну залезаю  
под вечер трудового дня,  
Собой я воду вытесняю,  
слабо ей вытеснить меня!..

Все на мгновение притихли, оценивая очередной экспромт. Потом недоверчивый Зайцаца сказал: "Дурит он нас. Это заготовка".

- Заготовка!? - Заорал Цыган Мара. - Да пусть хоть и заготовка. Тебе-то и заготовку никогда не сочинить. Заготовка...

Тут в комнату зашел свежeweмытый Аркадьич, и с порога перефразировал печально-знаменитое: "Ну что, товарищи, пить стало легче, пить стало веселей..."

И все сейчас же забыли об экспромте (или заготовке, по версии недоверчивого Зайцацы), залюбовались веселым Аркадьичем, и я скажу, почему это случилось, во-первых, потому, что если по совести, то ванну Аркадьич принимает только в минуты крайнего душевного волнения, то есть, не так уж и часто, по сравнению со всеми, кто принимает ванны по другим причинам, и еще, конечно, потому, что большую часть своей жизни он живет грустным, хотя шутит много, и мы особенно рады,

когда видим его таким веселым, и даже дурацкое перефразирование прощаем. Вообще, мы ему многое прощаем. Но я чувствую: он нам - еще больше. Такое у меня ощущение.

\* \* \*

День, понятно, пролетел незаметно. Не успели оглянуться, уж вечер наступил. Слава богу, в доме всего было вдоволь, запасливый Старина Эмма, постарался, и мы сидели себе, как в тайге, в избушке, а на улице ветер, пурга, волки...

Чушь, конечно. Денек-то был замечательный, свежий и солнечный. Но мы так и не высунулись. Уже темнеть начало, в дверь позвонили, не успел Старина Эмма встать, кто-то суетливо пнул вторую дверь тамбура, и заорал Петюнькиным голосом: "Эмма, это ты?".

И пошло, и поехало... Бороденка трясется, левый глаз дергается, на стол с размаху бутылку водки, наполовину опорожненную, заткнутую хлебным мякишем, уже раскрошившимся в огненную воду, ботинки скинул, и всем стало ясно, что носки с прошлого года не стирал... Петюн есть Петюн, к не мы его выбирали, а он нас. И теперь уже ничего не поделаешь, - несем свой крест.

- Сидите здесь, - пугает глазами, веки подергиваются и скрежещет зубам, - а там "московские ворота"...

Петюн всхлипнул. Он видел, что нам не страшно, и страдал от этого. Обормот, обормот, одно слово - обормот!

- А там памятники исторические рушат, а? А вы здесь, попиваете, кофе с какавой, с коньяком...

Тут он узрел Цыгана Мару и добавил... "И Мендельсона, поди, слушаете, да?"

- Володя! Рогов! Старичок! - Крикнул из спальни Иностранец. - Ну, сделай хоть что-нибудь без моей помощи, хоть раз. Дай ты ему в его свиное рыло, пусть хоть на время заткнется, пока засну.

Это бесполезно, Иностранец и сам знает. Дашь - заверещит еще больше. Кажется, он только и ждет, чтобы кто-нибудь не выдержал и дал. Он это любит больше всего на свете – заваруху, и себя в центре. Петюн налил себе водки с крошками, выпил, поморщился, сел наконец - и замолчал угрюмо. Мне его жалко, между нами говоря. Но в то же время я знаю, что Петюна не переделать. Нам, людям, не переделать. Только время его разогнет, горбатого, только оно. А может, и время не разогнет. Это как фишка ляжет, в какое каре звезды соберутся, и если будет на то воля Божья, которую он, клянется, что уважает.

"Какое милое на дворе тысячелетье", - хрипло цитировал Цыган Мара, Петюн отворачивался: ни поэт, ни трактовка эпохи, ему не нравились.

- Как это превосходно оказано у Андрея Битова - "широкий круг не знакомств", - говорил Зайцаца.

- Ничего такого у Битова нет, - отвечал Старина Эмма.

- Ну, нет, так будет.

- Да тебе и баба не нужна, - уже потихоньку - помаленьку оскорблял Цыгана Мару Петюн.

- А ты откуда знаешь? - Интересовался Адам Смит.

- А че тут знать? Он возбуждается только когда "Темные аллеи" читает, тут и знать нечего...

- Молчи, лихоим, - сжимал губы Цыган Мара. Оскорблялся он не за себя, а за Ивана Алексеевича. За себя-то что оскорбляться, здесь Петюн пальцем в небо, и каждая третья девушка с любого курса филфака могла произнести по этому поводу монолог, кто большой, кто маленький..

- Володичка, я скоро с ума от них сойду, - прошептала Рита, - пойдем, проводи меня.

- Слушай, а Иностранец?

Тут Рита на меня взглянула, и я засуетился, испугался за себя, за пятки свои. Однажды, в Бухте спускались с высоченного "Волчьего", точка там наша, и ГТС перевернулся, да ещё прополз несколько метров, замер в ложбинке и загорелся, я наполовину вылетел, сознание потерял, и одна нога попала в горящую лужу бензина, или керосина, из канистры текло, это меня и спасло, да и водителя, потому что очнулся я от такой дикой боли, что не только сознание, а жизнь к мертвому может вернуться, когда огонь пятки лижет, я подхватился, погасил в снегу хэбэшное галифе, взял под мышки сержанта, водителя, и поволок его вниз, к черту от искореженной машины, и минуты через две она грохнула.

Знал я, знал, нестерпимую боль от огня!

Всё же я забежал на секунду к Иностранцу. Тот лежал молча, смотрел в потолок, вроде розоветь начал.

- Слушай мы тут...

-Двигай, двигай, барбос, - Иностранец так тепло посмотрел на меня, что, господи ты боже мой, слезы навернулись. Я и он, он и я..,

- Позвони только сразу.

- Когда сразу?

С утра сразу, ненормальный... Иди, Ритка ждет.

\* \* \*

Рита Пугачева снимает прелестный коттедж на улице Людвига Ван Бетховена. Сын у хозяйки служит в армии, и она решила это пережить-перемочь вместе с бездетной и безмужней родной сестрой из Полтавы. И вот уже несколько месяцев Рита живет одна.

Мы пошли по вечерней Байкальской, вверх, дошли почти до поворота на аэропорт, и свернули к ГЭС. Было уже совсем темно всю плотину, которую нам предстояло перейти, усыпали гроздь-гирлянды лампочек. На повороте, чуть дальше, два негра и белый парень, русский, потихоньку, но пластично, выгибались, слушая композиции Кита Джаррета, его штучную пианистическую технику. Мы подошли к ним, я обнял Риту за плечи, и взглядом спросил у всех трех: "Можно?" . "Шуруй, чего спрашиваешь!" - Ответили мне их глаза. Мы тоже поймали ритм и долго не отпускали его. Потом Рита прижалась ко мне и сказала: "Пойдем". Мы дошли, наконец, до плотины, пробежались над страшноватым, гулким водопадом. Брызги долетали до нас, хотя водопад был далеко внизу. Эта теплая водяная пыль казалась сентиментальным полуденным дождиком, да еще с радугой... Но была уже почти ночь.

Очень странная улочка - Людвига Ван Бетховена. Маленькая, метров сто - сто пятьдесят. Надо после плотины повернуть с центральной магистрали поселка энергетиков направо, почти сразу, пройти несколько дворов, и вдруг выныриваешь прямо на нее. А странная вот чем: начинается и кончается тупиком. Вернее, начинается торцами домов, двухэтажных коттеджей, ими же и заканчивается. И нет никакой связи с другими улицами и переулками. Вокруг - аккуратные садики, крошечные огородики, палисадники, а воздух дурманит, щекочет нос запахами, летними, пряными, умиротворяющими, любвеобильными... Тут поневоле... Да уж, тут и поневоле... Слава богу, ко мне последнее не относится. Я не поневоле, я безумно рад, медленно шагая рядом с Ритой по ее улице Людвига Ван Бетховена.

Что же это, граждане, происходит?

Где мой дискомфорт, недовольство собой, где вечная тревога незнамо по чему?

Где они, не скажу, что милые, но привычные?

Нету.

Пропали.

"Ау" - не отзываются.

: "Хорошо!" - сказал бы Вл.Вл.Маяковский.

"Отлично", - добавляю я.

Все это, конечно, так, но что же и правда происходит? Ночь, темная тихая улочка с душным летним воздухом, и шуршание Ритиных юбок около моего бедра... Шуршат все громче, или мне кажется... Когда они начинают греметь невыносимо, как колокола, нас бросает друг к другу. Губы находят губы, и их чувственность глушит, забивает последние мысли... Мы сходим с ума несколько секунд, вжавшись друг в друга, перевившись руками так, что когда очнемся, приходится их распутывать... Она шепчет что-то, у меня перехватывает голос. и я молчу,

- Ты знаешь, - мы уже почти подошли к небольшому дворику, освещенному неяркой лампочкой с навеса крыльца. По запаху можно было угадать, что весь небольшой участок засажен цветами. Запах

нужно было замерять счетчиком Гейгера, и, мне кажется, он был небезопасен, - я тебе сейчас одну вещь скажу.

Она пристально посмотрела на меня, приблизив лицо почти вплотную. Но зря Рита пугала меня своей таинственностью, своей неземной силой, властью и характером. На этот раз мгновенно почувствовал: здесь слабина. Что-то ее смущает, приостанавливает.

Боже мой, неужели Рита Пугачева стесняется, и кого - меня!

Я положил ладонь на ее затылок, и нежно пододвинул лицо вперед.

- Ты знаешь, - опять теплым голосом выдохнула Рита, - у меня ведь все ни как у людей. Ну, да это-то понятно. И вот что, вот что, Володенька, родненький...

Меня уже разбирало любопытство. Что это за тайна такая? Заметьте, если уж Рита Пугачева заикнулась, а потом побаивается - значит достойная вещь. Вещь достойная любопытства, и потому любопытство простительно. Пока я так рассуждал, мы зашли во двор, сели на скамейку, и Рита сказала: "Вот говорят: еще девушка. А про меня сегодня можно сказать: уже девушка".

Она тревожно смотрела на меня - не хмыкну ли, не улыбнусь. Вообще, честно говоря, про себя-то я поперхнулся. Но зарок есть зарок, ничему рядом с этими людьми не удивляться, ни о чем не допытываться. Я человек последовательный, и даже немного педантичный, потому тихо шепнул ей: "Вот и хорошо. Хорошо, милая. Спасибо, девочка, ненаглядная моя".

Она ещё раз: посмотрела на меня, и что-то с ней случилось.

До этой минуты я видел помолодевшую, свежую, красивую и молодую интеллектуалку. Сейчас передо мной сидела девчушка, светлячок деревенский: все светилось - глаза, матовая кожа, волосы. "Фосфоресцирует" - подумал я. Но вслух говорить та стал, потому как я и днем-то еле это слово выговариваю, а уж ночью... Проницательный читатель, догадался уже, что не только поэтому. Мне стало немного не по себе, и в то же время я почувствовал себя настоящим мужчиной: взрослым, сильным, мудрым. Я приобнял Риту, и мы пошли в дом.

Я пошатался по комнатам, их три на первом этаже, и все её.

Нашел заморский проигрыватель, начал копаться в пластинках. Послышались Ритины шаги. Я обернулся: "Вот. Мой любимый этюд. Рахманинов...."

- Да. Рахманинов. Конечно, Рахманинов, - говорила Рита, - а как же, конечно Рахманинов...

И после этого мы надолго замолчали. Она подошла ко мне, и через две секунды ее халат полетел по комнате как ковер-самолет.

И когда настал самый горячий миг, когда в глазах все плыло, руки и голова отключились друг от друга, когда её маленькая нежная грудь - и впрямь девичья - наконец плотно прижалась к моей груди, и она сомкнула свои руки на моей спине, а ноги наши переплелись, Рита зашептала:

"Помнишь Бухту? Помнишь как встретились? Тебе тогда плохо было, я тебе помогла. Чем смогла, помогла. Помоги и ты мне теперь, Володечка. Помоги, мне ведь тоже не ахти как живется одной. Я ребенка хочу, мышонка такого маленького, и чтобы вылитый ты был... Ты не бойся..."

Нежность окутала и спеленала. Все мои чувства, душа моя, настолько обострены, напряжены, что еще миг - и я заплачу. Я мягко прижал руку к ее губам, и мы опять замолчали.

Я как будто боялся чего-то, и все тянул, тянул, а руки хоть и нежно, но делали что-то невообразимое, и Рита чувствовалось, была уже не в себе, но тоже никуда не торопилась...

И мы доласкались. Критическая масса? Как описать эпицентр безумного взрыва? Хорошо хоть жив остался... Пишу, а у самого рука начинает подрагивать.

Но ей досталось больше, чем мне. Всего: и наслаждения, и чувства, и боли. Боли, потому что Рита Пугачева зря никогда ничего не говорит: оказалась девушкой. И в этот миг ей, может быть единственной на Земле, удалось достичь недостижимого: всё-таки прошлая жизнь так просто не ушла, Рита не была неопытной девушкой, это мягко говоря, но это была отдельная жизнь её тела, хотя, повторяю, когда все случилось, она оказалась девушкой, и не только чувствами, но и тем же самым телом.

Она лежала на спине и слезы тихонько катились по щекам. Я чувствовал себя абсолютным дураком - о чем она плачет? О том, о чем только что оторичала? Так ведь, ну, если по трезвому-то рассудить, ну ведь всё это ее штучки, я знаю, она еще и не то может, так чего же реветь? Спектакль...

- Действительно, дурачок, - шепнула она мне. - С этой минуты все кончилось, Ничего такого я больше не могу. Но плачу не об этом. Понимаешь, последнее, что дал мне мой дар - вспыхнул, явился, встал передо мной, как лист перед травой, малыш. Девочка, глаза чуть раскосые, твои, нос пуговкой, тоже твой, а подбородок квадратненький, аккуратный, разделен ямочкой - ну чей, как не мой. Рост 58 сантиметров, вес 3 килограмма 700 граммов, рожу с шестой схватки... это нормально. Это даже замечательно, родненький ты мой, Володенька ненаглядный, сколько мне Бухта горя принесла, я там настоящей ведьмой стала, а все равно ей благодарна - за тебя, за Дашеньку...

- За какую Дашеньку?

- За дочку мою, глупенький.

- За нашу, ты хочешь сказать.

- Нет. К сожалению, нет. За мою.

Спорить я не стал. Только глядел на нее, на ее матовую, почти детскую кожу, на ее нежное лицо, которое чем-то отдаленно напоминало лицо бухтинской мадам Пугачевой и утрешней интеллектуалки Риты, морщины на нем не разгладились, а совсем пропали, и подбородок вправду был разделен ямочкой - раньше я ее как-то не замечал.

- Все. Все решилось само собой. Завтра пойду оформляться....

- Чего?

- Да, ты же не знаешь. Понимаешь, весной у меня англичане гостили, милая пара, он пишет пьесы, она актриса. Ну вот, прислали две недели назад приглашение, в Лондон. Я колебалась, сам понимаешь, и денег у меня немного, да и дел уйма в театре, и к матери надо съездить, но теперь все - еду.

- А что это ты вдруг? - Обалдел я.

- Как что? Как что? Да я из этого Лондона Дашке тряпок на два года вперед привезу. Пойди, купи что-нибудь ребёнку в этом Иркутске.

- Спокойно, - сказал я себе, - спокойно. Тут лучше помолчать.

Мы и впрямь лежали молча. Сон не шел, какой тут сон. Потом Рита облокотилась и тревожно посмотрела на меня сверху.

- Слушай, Володька, а ты что вчера пил?

- Вчера? Да "Окейю" пил...

- А сколько она... Ах, да, "Окейя", - расхохоталась будущая мать моего - или не моего - ребенка. Я тоже смотрел на нее и мне всё-таки ужасно хотелось поскорее увидеть это чудо весом 3 килограмма 700 грамм рожденное с шестой схватки.

- Ах, черт, всё это жутко интересно.

- Интересно?!

- Ну не цепляйся, не цепляйся. Я только хочу сказать, что давай-ка мы с тобой отметим это событие. Есть чем? Выпить у тебя что-нибудь есть, Ритуля?

- А сейчас можно?

- Ну, а чего сейчас -то нельзя? Ведь все уже...

- Все равно я немного буду. Ладно? Не обижайся, нельзя мне теперь.

- Да чего нельзя?! Ты в своем уме, Ритка? Ведь полчаса прошло всего.

- Нельзя. Поверь мне. Я знаю.

- Ну, Бог о тобой. Как хочешь. А я выпью. Мне-то можно?

- Тебе? - На секунду задумалась, Рита. - Тьфу, ты, и правда головкой слаба стала. Но ты пойми, Володенька, я ведь столько ждала этого часа, этой ночи...

- Скажи ещё - меня.

- Тебя. Тебя, родненький, тебя. Никогда этого не поймёшь, не поверишь, ну и не надо. А всё равно тебя.

И она вдруг обхватила меня, прижалась, и задрыгала стройными своими ногами, сотрясаясь от смеха.

- Сумасшедшая. – Я кое как вырвался и, спотыкаясь, скорее от пережитого, чем из-за темна, пошёл собирать свою одежду

Сидели мы долго, почти до утра. Пили шампанское, выходили на крылечко, сидели, дышали её цветами, пели потихоньку "Вот кто-то с горочки спустился". У меня уже не было никаких сомнений, что Дашка почти существует на этом свете. И вообще, не было никаких сомнений. Я, наверное, счастлив был. Ну, а как это ещё назвать.

И шел я по этой улочке, бессмысленно улыбаясь, покачивал меня утренний ветерок, а я только повторял: "Ну Людвиг! Ну Ван Бетховен! Ну мы даём..."

\* \* \*

На кухне Старина Эмма колдовал над туркой, Петюн клянчил у Иностранца на опохмелку.

- Да нету у меня, нету. Сколько лет друг друга знаем, ну не похмеляюсь я.

- А эта ваша, как её, "Гудбайя", она-то есть поди...

- Ага. И ещё, как сказал бы Остап, ключ от квартиры, где деньги...

Тут Петька вскочил, обматерил нас, всех, и нервно хлопнул дверью.

- Синдром. Петька вообще-то добрый, а поскольку всегда с похмелья, кажется злым. – Невозмутимо заключил Старина Эмма. - Садись, Володя, попьём кофейку, да мне на службу пора.

- Э, нет, Эмуля. Пока нас не отправишь, никаких служб.

- Куда это ты собрался, - спросил я у Иностранца.

- Ну, а что, здесь что ли сидеть? Дальше двинем. Чего это ты сияешь, как новенький пятак? Что, так...

- У меня ребёнок будет.

Старина Эмма поперхнулся напитком и начал хохотать, как ненормальный. Иностранец спокойно улыбнулся и сказал: "Оригинально".

- Да нет, не у меня лично, конечно, у Риты от меня, у нас...

- Ясно, ясно. Так куда бы ты хотел сам двинуть, а?

- Может в Чомбей?

- Ну нет, хватит с нас северных широт. Пора и под солнцем погреться.

- А чо, здесь не солнце что ли?

- Солнце, да не то. Короче, дальше путешествуем в Керчь, потом на пароме в Тамань, а там на Мыс...

- Это с чего это вдруг, так заковыристо и изощрённо?

- Ну не изощрённей, чем с филиппинцем на Северный полюс летать. А на Мысе сейчас Валька Ширяев камфоры ищет, со своими там, с аквалангистами по дну моря шастают...

- Чего он ищет, камфоры?

- Эх, - не смутился Иностранец, - совсем ты чувство юмора потерял после этой ночи. Ну, каламбур, ну ясно, что амфоры. Так как?

- Всё ничего, кроме Васьки.

- Брось, брось, он сам приглашал, всё будет нормально, беру на себя.

- Бери, бери. Так когда летим?

- А вот это нам сейчас Старина Эмма скажет. Да ведь, Эмма?

- Ладно, сщас устроим.

Старина Эмма звонил, я клевал носом, Иностранец, глядя на меня, тоже пошёл и завалился на диван. Потом Эмма положил трубку и сказал:

- Везёт вам, как всегда. – Старина Эмма замолчал. Это был Старина Эмма. – Но на этот раз не до конца. Короче, знакомый генерал на своём военно-транспортном АН-24, но только до Свердловска. Дальше уже как-нибудь сами, мужики.

- Ладно, и то хлеб. Откуда у тебя такие придворные знакомые, гоф, лейб, генерал, свой самолёт... – лениво поинтересовался Иностранец.

- А мы с ним на этом АН-24 каждую осень Дальний Восток осваивали. Рыбачить летаем. Приличный мужик, не нам, голодранцам, чета. Член Военного Совета...

Тут он покосился на меня и замолчал. Иностранец улыбался, любуясь нами.

В аэропорту генерал недовольно рассмотрел нас: его аппарат уже минут пять был под парусами.

- Вы уж простите, Николай Фёдорович, - извинялся Старина Эмма, - но всё так неожиданно...

Врал, подлец. Я и Иностранец никогда не бываем для него неожиданностью. Несмотря на всё его царскосельское воспитание.

Николай Фёдорович, лишь только высоту набрали, с места в карьер завёл разговор о падающем престиже армии. Был он небольшого роста, но крепкий, широкий в плечах мужик, с огромной башкой в венчике седых волос. Я, как только услышал, что в нашем возрасте нам очень пошли бы капитанские погоны, закрыл глаза, и начал срочно считать. Обычно мне это не помогает, вернее, надоедает – ближе к пятидесяти, но тут я упорно считал, старясь не слышать генерала. Шум моторов помог мне, и я заснул. А когда продрал глаза, они сидели в тех же позах, то же оживление, да и фразу Николай Фёдорович говорил до боли знакомую:

- И я рапортую командующему – дескать, «этого мы себе позволить не можем» - а Иностранец с пониманием и сочувствием кивал ему.

Я встал, прошёл в кабину. Ребята подсказали, что уже на снижение идём, я посидел с ними, и когда генеральская машина уже нацелилась на полосу, демонстративно вернулся в салон. Пилоты, молодцы, сделали вид, что ничего не заметили. Николай Фёдорович опять недовольно рассмотрел меня. Зря я, конечно, ну да Бог с ним. В Свердловске мы вежливо поблагодарили всех, и пошли в недалёкое здание аэровокзала.

- Ничего не поделаешь, - сказал Иностранец, - в этом городе нам придётся брать авиабилеты. Знакомых совсем нет...

И вот тут-то нам действительно повезло. То есть, хочу сказать, что раньше наше везение было закономерным, а в кассе аэропорта Свердловска – случайным. Кассирша лишь головой удивлённо помотала, когда её "компьютер" выдал два билета в Керчь.

- Бронь только что сняли. Везунчики... – пробормотала она.

- Но, но, - строго ответил ей Иностранец, предварительно заграбастав билеты, - какие ещё везунчики?! Обыкновенные граждане...

Кажется, она даже из окошечка высунулась, посмотреть на нас, уходящих.